

Анатолий Курчаткин
СТРАЖНИЦА



Анатолий Курчаткин

Стражница

«Автор»

2009

Курчаткин А.

Стражница / А. Курчаткин — «Автор», 2009

ISBN 5-89763-015-1

Этот роман – художественный вымысел. И вместе с тем он абсолютно документален. Художественный вымысел наложен на сетку реальных событий, и через него они раскрываются как грандиозное мистическое полотно российской истории конца 20 века. «Стражница» – это роман о конце советской эпохи. О том, как начинался этот закат, как протекал, как завершился. Кажется, единственный в современной русской литературе роман о тех событиях. Метафорический реализм, в котором часто работает Анатолий Курчаткин, здесь неразлично смешан с реализмом мистическим: героиня романа, Альбина (неслучайное, символическое имя!), жена партийного босса средней руки, живет в двух пространствах – обычном, физическом, как и всякий человек, и чувственном пространстве сверхъестественных связей, оказываясь стражем и охранителем того, от кого зависят сдвиги и перемены в обществе. Судьба героини романа – это метафора конца 73-летнего советского периода русской истории. «Стражницей» Анатолий Курчаткин еще раз утверждает себя как один из оригинальнейших и ярких писателей современной России.

ISBN 5-89763-015-1

© Курчаткин А., 2009

© Автор, 2009

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	44
-----------------------------------	----

Анатолий Курчаткин

Стражница

© А. Курчаткин 2017

* * *

Вере, подарившей мне этот роман, посвящаю

«...иногда имеют место явления, которые субъективно могут казаться нарушениями законов природы «высшими силами». Это называют чудом. Но там, где такие явления действительно совершаются, а не оказываются aberrациями, там происходит вовсе не нарушение естественных законов «произволом» высших сил, а проявление этих сил через ряд других законов, нам еще неясных.»

Даниил Андреев, «Роза мира»

«Жизнь – это судьба.»

Х. Ортега-и-Гассет

1

Ей запомнился этот сон с такой внятностью, с какой сны никогда не сохраняются в памяти. Даже те, что снятся по многу раз, повторяясь в микроскопических деталях, – и пойдешь объяснять, что это значит, такая их неотвязность.

Ей снилось, будто она стоит на каком-то выпуклом, похожем на воинский шлем холме, на самой его вершине, вознесясь над окружающими лесами, небо в плотных мгlistых облаках, краски земли блеклы и тревожны, она стоит, оглядывая весь мир, оказавшийся у ее ног, а изнутри холма, словно он полый, как колокол, и там бьется в его стенку тяжелый колокольный язык, гудит, проникая в нее через босые ступни, могучий торжественный звук, смысл которого отзывается в ней словом «убереги». УБЕРЕГИ! – раскатисто ходит звук по ее телу, сотрясая его и наполняя восторгом и счастьем, она поворачивается туда и сюда, пытаясь понять, с чем связано это слово, однако ни в блещущих зеркальцах озер и реки, ни в смирном покое полей, ни в глухом молчании лесов, кольцом замыкающих холм по линии горизонта, не находит отклика. Но вдруг вдали, на проселочной дороге, выходящей тонкою бечевой, возникает, будто из воздуха, туманная поначалу, человеческая фигурка, движется там, в немыслимой, невероятной дали, плотнее понемногу, шаг от шагу делаясь все более отчетливее для глаза, и она понимает: ее, эту фигурку, должна уберечь. Фигурка идет, идет по дороге, сделавшись совершенно реальной, ясно видимой глазом, она смотрит на нее со своей высоты, вглядываясь в нее, чтобы понять, кто это, кого должна уберечь, но такое смертельно громадное расстояние между ними – не понять, кто это, мужчина или женщина, не различить лица и не разобрать даже, в какую сторону движется: уходя от холма или, наоборот, приближаясь к нему...

Ей было тогда пять лет, когда ей приснился этот сон. И никогда больше не снился, но странным образом она помнила его все последующие годы своей жизни. Он было уходил из нее, не всплывал в памяти долгое время и вдруг, в какой-нибудь самый неожиданный, а то и просто неподходящий момент – когда, скажем, была с мужем, – как что-то взрывалось в сознании, разверзалось пространство, и она ощущала себя стоящей на вершине того холма с

такой явственностью, с такой осязаемой чувственной силой, будто сон этот снился ей не в пять ее лет, а только вчера.

Впрочем, она не придавала тому никакого мистического значения. В юности, заканчивая школу и еще года два после, она хотела быть врачом, поступала в медицинский, читала всякие популярные книги и по физиологии, и по человеческой психике и знала, что какие-то детские впечатления совершенно необъяснимо застревают в памяти на всю жизнь, и почему одним из таких впечатлений не быть сну? Еще, например, ей помнилось, как она сосет у матери грудь. Сосет, тяжело работая губами, устает, разжимает губы, выпуская тугой сладкий сосок, поворачивает голову и видит молодое лицо матери над собой, а дело происходит в доме родителей матери, мать сидит на табуретке, прислонившись спиной к открытой двери между комнатами – нелепое, с одной стороны, место для кормления, чтобы воспоминание было истинным, а не примнившимся после, но, с другой стороны, в подобной нелепости – лишь подтверждение реальности воспоминания, потому что, желая обмануться, сознание подсунуло бы себе что-то более убедительное.

Единственно, что воспоминание о себе девятимесячной у материнской груди, как и все другие воспоминания подобного рода, никогда не бывало неожиданным, непременно ассоциативным – всегда можно было отыскать в себе толчок к нему, побудительную причину, а воспоминание о сне всякий раз, без исключения было беспричинно, именно как взрыв, так что его в полном смысле слова нельзя было и назвать воспоминанием, скорее уж – напоминающей о себе внезапной болью.

Но и этому она тоже не придавала никакого значения. Она не была мистическим человеком. Она была человеком очень даже реалистичным. Не в смысле, что приземленным, а – земным. То есть, если и не очень практичным, расчетливым – чего за ней не водилось, – то трезвым и весьма разумным.

2

Весной, когда сошел снег, днем стало печь солнце и земля начала прогреваться, колебля над собой текучую стеклянную массу поднимающегося от нее водяного пара, в дальнем конце участка, в дренажной канаве, обнаружилась сдохшая собака.

Участок был большой, и в том конце был нехоженный край, все лето там стоял, едва не в человеческий рост, бурьян, сейчас, к весне, полегший над землей мочальными гривами, оставив торчать над ними высохшее будылье зонтичных; трава в том конце рождалась и умирала сама по себе, без всякого вмешательства человеческой руки, новая задавливала собой старую, а старая просто сгнивала на корню, никто бы там и не обнаружил собаки, если б не запах. Сладковатый этот, вызывающий тошноту запах преследовал Альбину несколько дней, особенно сильно она чувствовала его вечерами, распахивая окно для ночного сна – будто волна ударяла в лицо, – она не понимала, откуда он, этот запах, пока, наконец, ноздри не привели ее в тот угол, где, разведя руками полегшее бурое мочало прошлогоднего бурьяна, и увидела в канаве собаку, едва не ткнувшись пальцами в ее мертвое тело. Собака была обычной дворнягой той распространенной белой масти в рыжих подпалинах, каких полно бегало осенью по поселку после уехавших дачников, пока их не переловят, не заташат на проволоочной петле к себе в машину собачники, которых ей же, Альбине, как секретарю поселкового совета, и приходилось вызывать. Она лежала на дне канавы, запрокинувшись на спину, вытянув по склону торчащие палками лапы, карий стеклянный глаз был мутно приоткрыт, пасть раздвинута, словно б в улыбке, и в обвисших черных закраинах губ, кажется, что-то копошилось, хотя мухи еще не появились. Бесшерстное брюхо все было объедено грызунами, и кожа там висела лохмотьями. Должно быть, собака околела перед самыми холодами и пролежала здесь под снегом всю зиму.

То ли была больна и выбрала их участок, этот глухой угол, для смерти, то ли, спасаясь от собачников, была так ранена ими, что забравшись сюда, уже не смогла выбраться.

Желудок у Альбины сдернуло спазмом, ком его прокатился по пищеводу, ударил в гортань, но тут, в гортани, судорожно сглотнув, она сумела погасить комок и, торопясь, бегом, кривясь лицом от кислотного желудочного вкуса во рту, бросилась вон из этого заросшего бурьяном угла. Спазм сжал ей желудок еще раз, но она уже отбежала от канавы на изрядное расстояние, запах ослаб, оставаясь лишь в ноздрях, и кислотный ком не докатился до гортани, только обжег пищевод над ложечкой и вышел наружу толчком неприятного воздуха.

Она остановилась и огляделась. Непонятно, зачем ей это понадобилось – оглядываться, будто она была не на собственном участке, знакомом до каждого кустика, до каждой грядки, до каждого комка земли, а в некоем неизвестном месте.

Но, к собственному изумлению, она действительно находилась в неизвестном ей месте. То есть это был ее дом – вот там, в двадцати метрах от нее, с большими высокими окнами, впускавшими внутрь много света, которыми она всегда гордилась, поляна перед ним – это была та самая поляна, которую она собственноручно выхаживала много лет, чтобы превратить ее в настоящий газон, лиственница, около которой остановилась, – это была та лиственница, что сажал, привезя ее откуда-то, муж в самом начале их жизни здесь, и она прекрасно помнила, как он опускал в вырытую яму тоненький прозрачный саженец, то есть все это вокруг было ее, родное, но что-то сделалось с ее глазами: она смотрела каким-то таким образом, что все казалось иным. Она ощущала, что все это: и дом, который они с мужем построили здесь с котлована, и поляна, которую она превратила в газон, и плодовые деревья в два ряда по ее краю, на которые она положила столько сил, чтобы осенью под их дарами прогибались ветки, – это не ее жизнь, она была слепа, принимая эту жизнь за свою, ее жизнь совсем не здесь, не в этом, и только начинается. Сейчас, с данного момента. Вернее, уже началась, уже идет некоторое время, и вот ей это открылось.

Ознобный холод пробрал Альбине спину. Пузырчатая его наждачная волна прокатилась от крестца к плечам и, расплескавшись там, медленными струйками побежала по лопаткам обратно вниз.

Ей стало страшно. Это ощущение предназначенности к иной жизни и начала ее было странным образом связано с мертвой собакой. Собака улыбалась, и от нее шел сладковатый, удушающий запах разложения.

Не помня себя, не отдавая себе отчета в своих действиях, Альбина бросилась к сараю, отыскала в куче всякого полунужного хозяйственного хлама пустой бумажный куль от цемента, схватила из груды садового инвентаря штыковую лопату, подумала и вытащила из завала широкую фанерную лопату для снега и со всем этим, чавкая и оскальзываясь на непросохшей земле, метнулась напрямик, через грядки и кусты, в тот, заброшенный дальний угол.

У нее сейчас был перерыв в поссовете, она закрыла его на ключ, так чтобы всякий пришедший сразу бы видел, что внутри никого нет, и прибежала домой встретить младшего сына из школы, покормить его обедом и пообедать самой, зашла на участок, завернула за угол дома к крыльцу – и ее опануло. Ее опануло – и она, будто разозлясь на кого-то, решительно пошла на этот запах... собаку надо было убрать с участка немедленно, не откладывая дела, до того, как вернется сын из школы, – так ей что-то диктовало внутри.

Штыковой лопатой она разметала мочало травы над канавой, порубила у корня, отбросила в сторону и, вонзив штыковую в землю, взяла фанерную. Положив ее черенком на край канавы, она подперла черенок ногой и штыковой лопатой, как веслом, стала тащить собаку на фанерную лопату. Запах разложения ударил в самые ноздри, вызвав в желудке новый спазм, она преодолевала его, отворачивая лицо в сторону, косясь на собаку одним глазом, собака оказалась тяжелой – и не сдвигалась с места.

Альбина напрягала все силы, у нее задрожали руки от приложенного усилия, было мгновение – ей показалось, собака двинулась, но это, оказывается, поползла под железной лопатиной шкура, обдираясь волнистым узким шматом, под которым открылся сахаристый желтоватый жир, – и тут ее, наконец, вырвало. Желудок выкатился наружу стремительным неудержимым толчком, и струя из него, переполнив рот и ударив в уши, пробарабанила по мертвому собачьему телу. От этого звука желудок Альбине стиснуло новым спазмом, и, выпуская из себя на землю новую порцию желудочной массы, она услышала забитым ухом стук ботинок на крыльце: вернулся сын.

Собаку убрал вечером муж. Машина его зафурчала на улице около дома, Альбина, пока муж не отпустил машину, выскочила ему навстречу, застала его как раз закрывающим дверцу и замахала рукой: удержи! Днем, собираясь сама убирать собаку, она не шла в намерениях дальше того, чтобы затолкать ее в куль и вытащить в нем за участок; прожив день, она додумала все до конца. Просто вытащить за участок – этого было, разумеется, мало, от собаки нужно было избавиться совсем, она должна была исчезнуть, а значит, ее следовало отвезти за поселок, в лес, и там закопать.

– А чего в лес, чего не здесь, где сдохла, яму поглубже – да и зарыть? – недовольно спросил муж. Ему не столько не хотелось тащиться куда-то, уже приехав домой, сколько посвящать во все это шофера, принимать неизбежно помощь – и тем самым, делая одно дело, как бы уравнивать себя с ним.

– Нет, не здесь, еще не хватало – здесь! – Собака должна была исчезнуть, духа ее здесь не должно было остаться, и Альбина не желала знать, что там стесняет мужа.

И когда муж с шофером – шофер, таща по земле выхлопывающий из себя остатки цемента плотный бумажный куль с собакой внутри, муж с двумя штыковыми лопатами в руках, – когда они вышли за калитку, она высыпала, вытрясла в дренажную канаву, где лежала собака, целую литровую банку хлорки, специально для того выпрошенной сегодня в детском саду. Трясла, отвратительный, едкий запах хлорки раздирал ноздри, слезил глаза, но в груди было словно бы победное – злорадное и победное одновременно – чувство: вот, на тебе!

К кому было обращено это «на тебе!», она не знала, но от его безадресности ничего не менялось, – она испытывала самое глубочайшее торжество. Перед тем она провела несколько кошмарных часов, вернувшись после обеда в поссовет: она боялась, вдруг сын, оставшийся дома один, забредет в тот угол по ее следу и увидит. Почему-то это невыразимо ужасало ее: забредет и увидит; и больше всего ужасало то, что увидит не собственно собаку, а приволоченные ею и брошенные там лопаты и цементный куль. Словно эти лопаты и куль являлись некой уликой против нее. Чем-то вроде прямых и откровенных следов совершенного ею прелюбодеяния, о котором он, сын, никак не должен был знать...

Хотя надо отметить, чувство было для нее диковатое. Потому что ей не было ведомо, что такое прелюбодеяние. Она не имела никого в своей жизни, кроме мужа. Прожив с ним ровно половину своих тридцати девяти и родив двух детей, она все эти годы спала только с ним. Она была девственной, выходя за него замуж, и так в некотором смысле девственной и осталась. При том, что в физиологическом плане все обстояло с нею благополучно, и никогда у нее не было никаких проблем с оргазмом.

Но эта необходимая часть жизни совершенно необъяснимо всегда оставляла ее равнодушной. Женщины вокруг, дай лишь повод, тут же начинали говорить, что они чувствуют и не чувствуют, чего им не хватает, а чего в избыток, ей же все это было абсолютно неинтересно. О чем было говорить? Ухо предназначено слышать, глаз видеть, и если с ними все в порядке, что за резон думать о них?

И точно так же была она равнодушна к изменам мужа; а он изменял, она знала. Но без этих измен невозможна была его работа, потому что там, где он работал, положено было иметь любовниц, потому что там, взойдя на определенный уровень, любовниц имели все, так нужно

было – иметь, чтобы удержаться на том уровне, иначе ты был не «свой» и тебе не было доверия. А если бы муж не взошел на этот определенный уровень, с которого, собственно, и начиналась власть и открывались возможности для достойного устройства жизни, тогда бы она не имела ни этого просторного, светлого, с большими высокими окнами двухэтажного дома, ни этого громадного земельного участка, на котором он был построен, ни своей необременительной должности поссоветовского секретаря, она понимала все это – и потому принимала его измены как должное, хотя другая на ее месте, и понимая, кипела бы ревностью и желанием отмщения. Но для нее – нет, не имели его любовницы никакой важности. Разве что она несколько опасалась дурной болезни, но он же и сам, наверное, не хотел подобного, подстраховывался, надо полагать? А зато дети всегда были хорошо одеты и хорошо обуты, всегда ели хорошую еду, ездили летом отдыхать на Черное море, и старший сын прошлый год поступил в институт – как по маслу.

Впрочем, и к детям всю свою жизнь она тоже была довольно равнодушна. Не в том смысле, что не любила. Любила, конечно. Но в ней никогда не было той безудержности любви, что свойственна большинству любящих матерей, той безоговорочности этого чувства, когда им перекрываются все остальные и заслоняется все прочее в мире, делаясь малосущественным. Она была и заботлива, и внимательна и в раннем их детстве, когда болели, просиживала около них целые бессонные ночи, но в любви ее к ним была некая вялость, тусклость, это, пожалуй, можно было бы сравнить с угасающим костром: внутри еще жар и огонь, а сверху уже мертвый серый пепел. Разве что костер знал иную пору – со взметывающимися языками пламени, а она была такою всегда. Во всем. Ей и работать было все равно кем. Хотела тогда в юности поступить в медицинский, читала всякие книги, но не поступила два раза, вышла замуж – и не поступала больше ни туда, ни куда еще, и желания больше такого не возникало. В ней было нечто от сомнамбулы. Словно бы что-то в ней не проснулось до конца, не выказало себя, не вышло из глубины в повседневную ее жизнь.

3

Впервые она увидела его 9-го мая. Уже два месяца, как это имя повторялось везде и всюду, и, наверное, телевидение показывало его и прежде, но она впервые увидела его девятого мая. Все было, как и со всеми другими, предшествовавшими ему: стоял на трибуне, с массивной, тяжелой глыбой президиума за спиной, уходящего многоярусными ярусами вверх, к нечеловечески гигантской белой скульптуре Ленина, указывающего куда-то рукой, президиум сидел, он стоял под ним на трибуне, словно на малом осколке этой гранитной глыбы, и читал текст доклада, глядя в бумагу перед собой, поднимая от нее глаза, чтобы договорить схваченный уже конец фразы, простершаяся перед глыбой президиума молчащая чаша зала выносило и терпеливо внимала произносимым словам – все было, как всегда, как долгие годы до того, но она, едва услышала его голос, увидела лицо и встретила, когда он поднял их, с ним глазами, вдруг испытала непонятное и удивительное чувство полета, обжигающего радостного вдохновения¹.

Это было то самое чувство, которым неожиданно и странно вдруг охлестнуло ее в тот день, когда обнаружила в дренажной канаве дохлую собаку, – она узнала его; только тогда оно было в образе новой жизни, что начинается для нее, с примесью горести и разочарования в

¹ В данном случае речь идет о торжественном заседании в Москве 8 мая 1985 г., посвященном празднованию Победы советского народа над гитлеровской Германией. 9 мая это заседание показывалось в записи по телевидению. *Здесь и далее автор принимает на себя ответственность за расшифровку общественных, природно-стихийных и других событий, упоминаемых в повествовании. Расшифровка дается в примечаниях к тексту. Чтение примечаний, как не играющих никакой сюжетной роли, совершенно необязательно.*

жизни прежней, а сейчас – в образе чистого восторженного счастья. Но она узнала это чувство: оно было то же самое; сменив облик, оно не изменилось в сути.

Однако, вознесшись в своем ощущении полета на неимоверную, какую-то космическую высоту, так что земля почудилась маленьким голубым шаром внизу, в следующий миг, как тогда, в прошлый раз, она испугалась посетившего ее чувства. Она испугалась, потому что оно тотчас вызвало в памяти тот день, рука ее разгребала увядшие шуршащие стебли травы – и глазам предстали вытянутые палками лапы, ощерившийся, словно в улыбке, рот, ударило в ноздри сладко-тяжелым, тошнотворным запахом... О, ей было невыносимо это воспоминание, оно было ужасно, чудовищно, она не могла выдержать его.

И потому она быстро, судорожно шагнула к телевизору и выключила тот.

– Ты что?! – вскричал муж, его подбросило с кресла, в котором сидел перед экраном, слушая произносимую речь, и он снова включил телевизор. – Мне это все читать потом? Еще не хватало! Дай послушать!

Она пошла из комнаты, чтобы не видеть этого человека по телевизору и не слышать его, забыв, зачем зашла сюда минуту назад, и не сделав того, что собиралась, но некая сила, как бы накатившая откуда-то изнутри и вмиг переполнившая все тело, вдруг завернула ее на пороге и повела обратно к экрану. И глянув на стоявшего за листками бумаги, читавшего напечатанный на них текст человека вновь, она с удивлением открыла для себя, что в ней больше нет не только картины того дня, но нет больше и страха, только что с такой силой душившего ее, она полностью чиста от страха, он будто вымылся из нее, – как если бы вся грязная, сальная от пота хорошенько отпарилась в бане. О, оказывается, ей хотелось слушать этого человека в светлых, вправленных в тонкую металлическую оправу очках, с просвечивающим сквозь редкие волосы непонятной формы большим родимым пятном рядом с теменем, хотелось смотреть на него, что-то ее притягивало к нему, – словно бы когда-то, очень давно, она знала его, но не была уверена в том и вот пыталась найти в нем черты того, прежнего, обнаружить в голосе знакомые интонации.

Наваждение длилось несколько, наверно, минут. Потом она очнулась – даже вздрогнула – и, увидев себя вперившейся, подобно мужу, в экран, сочла необходимым высказаться по поводу своего поведения:

– Бред какой-то!

– Какой бред?! Ты что говоришь?! – рявкнул на нее с кресла муж. – Что ты понимаешь? Очень важная речь, не смыслишь ничего – иди, не мешай!

Теперь она ушла. Но после праздников, на работе, когда почтальон принесла в поссовет газеты, неожиданно для себя, чего никогда не делала со всеми предшественниками этого человека в светлых очках, она взяла газету с его докладом и прочла доклад с первого слова до последнего.

Ничего такого, что бы заинтересовало ее, в докладе не было. Лились, перетекая одно в другое, привычные пустые слова, войну выиграл народ, не кто другой, как народ, страдания принял народ и победил народ, а во главе победившего народа стоял генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Виссарионович Сталин. После имени Сталина, названного именно так, с подчеркнутым почтением, с именем и отчеством, молчавший до того зал обрушился долгими бурными аплодисментами. Об аплодисментах в газете не упоминалось, но Альбина слушала как раз это место доклада по телевизору и помнила, что произошло, когда он назвал имя своего далекого предшественника. К концу чтения она испытывала нечто похожее на отвращение к самой себе: зачем она читала все это, зачем ей это было необходимо, что за нужда непременно дочитать до конца.

Второй раз она увидела его совсем скоро, спустя несколько дней: почему-то он очутился в Ленинграде, опять выступал там перед каким-то залом, с молчаливым благоговением вни-

мавшим ему², – но этого выступления она не слышала, только схватила глазами коротенький минутный репортаж о нем в информационной программе «Время», а что видела – так его разговор с людьми прямо на улице: стоял в тесном людском кольце, улыбался, отвечал на вопросы, – никогда еще на ее памяти не случалось, чтобы кто-нибудь из них столь запросто оказался в обычной уличной людской толчее. Но в этой толчее вокруг него, среди обычных, любопытствующе-расслабленных, восторженных, ротозействующих лиц сразу выделялось для глаза несколько совсем других: напряженных, колюче-безжалостных, как бы пружинно сжатых изнутри, и лица эти сразу выдавали профессию их обладателей: то были охранники.

О чем он говорил, она не очень-то слушала. Уловила только, как на чей-то вопрос, построжев голосом, ответил, что завтра вот будет опубликовано постановление, очень жесткое, которое решительно ударит по пьяницам, – и это все, что поймал ее слух. Почему-то все ее внимание сосредоточилось на людях с напряженными лицами вокруг него. Смотрела на одного, другого, только на них смотрела, больше ни на кого, как только глаз выловил их в толпе, и думала об одном: ослы, плохо охраняют, не так надо, кто так охраняет, так не уберегут! И в какой-то миг почувствовала, что и сама вся так же напряжена, как они, вся перекручена, пружинно перевита внутри, натянута, как тетива у лука, готовая выпустить стрелу, и взгляд затвердел в металлической безжалостной сосредоточенности.

Назавтра отчет в газетах об этой его поездке и то постановление, о котором он поминал, вновь были прочитаны ею от первой строки до последней, – чего в отношении ни одного из его предшественников опять же никогда она прежде не делала.

Вечером муж только и говорил о вышедшем постановлении.

– Ну вот, наконец, добрались. Начали, наконец. Взялись за дело. Теперь видна рука. А то не разбери что. Теперь пойдет. Раскрутим кампанию на полную мощность. Завернем гайки, чтоб неповадно. Укоротим руки сукиным детям. А то им все нипочем. Спаивают народ, до чего довели – стыдища! Всю Россию споили!

– Кто спаивает-то? – спросила она.

– А не знаешь?

– Евреи, что ли?

– Кто же еще? Они, сионисты! Продались Америке, разлагают страну, их не остановить, еще десяточек лет – и полетели бы в тартарары, Америка полная хозяйка на всей земле!

Разговор происходил за поздним ужином, уже прошло «Время» по телевидению, стрелки старинных часов в темном деревянном футляре около камина показывали почти десять, и он как раз принял свои вечерние «двести грамм», рдяно запылял лицом, и движения его, как всегда после принятой порции, приобрели чугунную медлительную тяжесть. Он любил «принять» и принимал регулярно, через каждые день-два, и ему нужно было не просто пропустить рюмку-другую, а «нагрузиться».

– А сам чего пьешь? – не удержалась, спросила она.

– Я что, пьянь, что ли? Под забором валяюсь? У меня работа такая – мне необходимо. Расслабиться я должен? Должен. Какое другое средство предложишь?

Пил он обычно коньяк, приносил на пробу из своего буфета и всякие «Камю» с «Наполеонами», но всем им предпочитал отечественные армянский с молдавским.

– Кто умеет культурно пить, пусть пьет, – добавил он через некоторую паузу. – А русский народ пить не умеет, ему пить нельзя. Понятно? Будет народ трезвым, сразу в стране все дела на лад пойдут.

– С чего это он пить бросит? Постановление приняли – и бросит? Вели тебе: не дыши, – и ты дышать перестанешь?

² Имеется в виду выступление М. Горбачева перед так называемым партийно-хозяйственным активом Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) 16 мая 1985 г.

Она проговорила это – и удивилась самой себе. Она никогда раньше не перечила мужу в подобных вещах. Это все, что происходило в его сферах, на любом уровне их, ее не касалось, это все не было ее жизнью и оттого не интересовало ее.

– Не лезь судить, в чем не соображаешь, – сказал муж. – Постановление – это тебе бумажка, подотришь и выброси? Это приказ, иди и действуй. А не хочешь – секир башка, вплоть до камеры! Дошло?

Они сидели за столом вдвоем – сын поужинал много раньше и уже с полчасика как лег спать, – он и она, без нескольких месяцев двадцать прожитых вместе лет, и, глядя на его пылающее убагаданно-чугунное лицо, она ощутила, что ее заливают ненависть к нему. Выкачивается откуда-то из глубины ее естества и разливается в ней горячей, обжигающей волной. Рука просилась размахнуться и дать изо всей силы по его рдяной мясистой щеке, нет – не ладонью, не пощечину залепить ему, а кулаком, что есть мочи...

Она рывком поднялась из-за стола, схватила с него две опустевшие тарелки, составила одна в другую, бросила туда вилки и быстро вышла на кухню. Поставила там тарелки в раковину и с минуту стояла около нее, опершись одной рукой о холодный бело-эмалированный отлив, другой ухватившись за изогнутый носик крана, крепко сжав его в кулаке, закрыв глаза и мотая головой, – остывая. Подобного с ней тоже никогда не случалось. Никогда не было в ней ненависти к мужу. Ни в каком виде. Что бы он ни говорил, что бы ни делал. Обижаться на него, злиться, возмущаться им – это все было ей ведомо, но испытывать ненависть – такого она никогда не знала.

А на следующий день она не смогла удержать в себе эту свою ненависть.

Муж приехал совсем поздно, уже совсем под ночь, улица мутнела сумерками, сын спал, а она, клюя носом, сидела перед телевизором и пробудилась в очередной раз от фурканья машины, донесшегося в открытое окно. Она встала с кресла, подошла к окну, – муж шел от машины к калитке той особой грузно-твердой походкой, по которой она безошибочно могла определить, что нынче он принял не «двести грамм», а ощутимо больше.

– Есть не буду. Сыт, – поведя рукой, объявил он с порога. Скрылся в туалете, прогремел там упавшим на унитаз стульчаком, который, должно быть, вырвался из его неверной руки, тяжело осел на тот, громко выпустил газы и закричал, тужась.

Альбина пошла в столовую убирать со стола приготовленный прибор, уносить еду в холодильник, сделала все это, – и, низвергнув в унитаз ревущий поток воды, муж вывалился из туалета. Она пошла в спальню расстилать постель, переодеваться на ночь – и услышала оттуда, как в ванной открылись на полную мощность, гулко захлестав струями о загудевший чугун, оба крана, – муж решил принять душ.

У, сообразил, нашел время, подумалось ей, разбудит сына сейчас... Спальня сына находилась на втором этаже, но перекрытия в доме были железобетонными и не гасили громких звуков, а резонировали. Она уже лежала в постели с детективом, когда дверь ванной приоткрылась, выпустив наружу многоструйчатое шипение душа, и муж позвал ее. Ох, чтоб ты, снова сказало в ней, но она послушно отбросила детектив, откинула одеяло и, надевая на ходу тапки, зашаркала к нему в ванную.

Сдернув цветастую полиэтиленовую занавеску, защищавшую пол от воды, в сторону душа, муж сидел в ванной на подвесном деревянном сидении и ждал ее.

– Потри-ка мне! – подал он ей густо, пенисто намыленную мочалку.

Грудь, плечи, живот в бело-фиолетовых клочьях пузырящейся мыльной пены – все у него было в крутой волосатой кипени, едва лишь более редкой, чем на лобке, разросшийся живот мохнатым бурдюком свисал на колени, скрывая собой его мужскую принадлежность, и она, с неведомой до вчерашнего дня, той же самой кипящей ненавистью подумала, глядя на этот его мохнатый бурдюк: тер его сейчас о какую-то бабу. Лежал своей волосней на ее животе, ездил по нему, потел, потому и полез под воду – смыть чужое. Она не сомневалась, что он вернулся

из чужой бабы. Так поздно и так нагрузившись – всегда означало, что от другой бабы. Она давно уже знала это, высчитав по всяким косвенным обстоятельствам: по запаху, шедшему от него, по особой грубости его голоса, по неуловимой сальной скользкости взгляда. Только всегда раньше ей это было все равно. Сейчас же... О, как ненавистен был ей мохнатый его живот, мокро поблескивающий сквозь кипень волоса тугой, натянутой кожей, как ненавистно было невидимое, скрываемое бурдюком живота мужское хозяйство, которым он всю трудился на стороне...

– Ну?! Возьми! – устав ждать, сунул муж ей в руки мочалку.

Она положила мочалку ему на спину, хотела начать тереть и, неожиданно для себя, пере-няла ее другой рукой, чтоб было удобней, и той, освободившейся, в мыльной пене, нагнувшись, скользнула ему под живот, в теснину между ногами. В ладонь сразу же угодил обмягший тол-стый пест, но он ее не интересовал, и она лишь слегка защемила пальцами пустую остроконеч-ную складку кожи. Целью ее была мошонка. Она ухватила в горсть катающиеся в распаренной торбе мошонки овальные мячики и крепко, заставив его дернуться на сидении, сжала пальцы.

– А оторву? Чтоб не млядовал! – сказала она, глядя ему в глаза, зрачок в зрачок, и, к собственному удивлению, увидела в них страх. Он и в самом деле боялся, что она может сде-лать подобное! Распущенная жарким паром в кисетный мешок торба мошонки начала стре-мительно сокращаться в ее ладони и во мгновение ока, толсто поплотнев, подобрала свободно висевшие в ней мячики к самому корню.

– Ты... чего это... ну-ка ты!.. – потянулся он к Альбиной руке и, лишь дотронувшись до запястья, схватил со всей силой и надавил на сухожилия, чтобы разжала пальцы. – Охренела?.. Ты что? Совсем?.. – шепотом почему-то, а может быть, внезапно осипнув, выдавил он из себя.

Она выдернула свою руку из его, ударила с размаху локтем о стену, удар пришелся на нервное сретение, и ее всю изогнуло от жуткой боли, и из глаз брызнуло.

Когда боль начала отпускать и в глазах прояснело, она увидела, что муж стоит в ванне в рост, смотрит на нее сверху этим перепуганным взглядом, и широкая толстая его рука с растопыренными пальцами лежит на песте, прикрывая тот.

– У, падло! – вырвалось у нее, и она, размахнувшись, хлестко ударила тяжелой мок-рой мочалкой по этой прикрывающей его хозяйство толстой руке. Выпустив мочалку, мочалка упала на борт ванны, перевесилась – и скользнула на пол. – Сам потришь! Еще звать меня! – сказала она в дрожащие страхом глаза мужа и вышла из ванной.

Впрочем, затворив дверь за собой осторожно и тихо.

4

Лето было дурное: весь июнь и июль, едва не каждый день, лили дожди, солнце грело словно бы нехотя, с ленцой, в огороде на клубнике сидело полно мокриц, ягода гнила, не успев созреть, огурцы в парнике никак не могли пойти в завязь, малина червивела. Впрочем, может быть, во всем этом была и ее вина: она мало нынче занималась и садом, и огородом, вернее, не занималась совсем. Прежние годы, едва свободная минута, словно какая сила вела ее к грядкам, и руки, будто сами собой, пололи, рыхлили, обрывали, подкармливали, спина уже не сгибалась, а просилось сделать и то, и еще вот то, и еще вот это, а нынче руки ничего не хотели, на все нужно было себя поднимать; клубничные усы вылезали на межи, укоренялись, отнимая у кустов соки, она никак не могла собраться общипать их. То ощущение некой новой жизни не оставляло ее, и она жила в состоянии постоянного ожидания, как бы прислушиваясь и приглядываясь ко всему, что совершалось вокруг, но ничего, что бы смогло означать эту некую новую жизнь, ни вокруг, ни с нею не происходило.

Хотя вместе с тем устоявшееся течение повседневного существования изобиловало странными мелкими изменениями привычного жизненного порядка. Странными они неизбежно выглядели по той причине, что все, одно к одному, были примерно одного характера.

Сначала отказалась носить яйца Татьяна-птичница. Она носила им яйца лет четырнадцать, круглый год, всегда в точно назначенное время – какая бы погода ни стояла: хоть дождь, хоть снег, хоть буря, – кроме поры, когда куры совсем не неслись, это стало укладом, по-другому не представлялось, и Альбина сначала решила, что Татьяна хочет поднять цену. Хочет поднять цену, но не решается сказать прямо и вот придумала фокус с отказом.

Татьяна объявила о своем решении, принесла яйца в последний обусловленный срок, Альбины не было дома, чтоб тут же выяснить что за причина отказа, и пришлось после работы пойти к Татьяне домой. Идти к ней домой было не очень приятно, в некоторой степени даже унижительно, но делать нечего, не пойти – значило покупать яйца в магазине, а там за ними мало что приходилось гоняться, подлавливать момент, когда завезут, но постоянно имелся риск купить тухлые, здесь же, у Татьяны, была полная гарантия свежести, качества – совсем другой продукт, какой разговор.

Татьяна жила не очень далеко – минут пятнадцать ходьбы, всего какие-то четыре квартала от дома Альбины в сторону леса, но это был уже другой поселок. Район, где стоял дом Альбины, называли Дворянским, поселиться в нем просто так, по своей воле, не мог никто, здесь в свою пору строились по специальному разрешению, и район этот по прописке относился к городу, а весь остальной поселок, хотя практически и смыкался с городом, городом уже не считался, отчего и имел самостоятельный поссовет. Там, где жила Татьяна, поселок походил уже на обыкновенную деревню, дома – почти сплошь деревянные, чаще бревенчатые, рубленые избы, и были деревянными изгороди, когда штакетниковые, а когда и горбылевые, асфальт здесь кончался, и разбитая гравийная дорога вся блескуче пестрела глазками луж, чавкала под ногами непросыхающая из-за нынешнего лета жидкая грязь.

– Нет, все, относилась, – сказала Татьяна, когда Альбина стуком в окно вызвала ее на крыльцо и спросила, что случилось. – Старая стала, ноги устают лишнюю дорогу топтать, а у вас вон младшой подросток, чего ему не сбегать туда-сюда.

Младший сын как раз уезжал завтра в Крым, в пионерлагерь, чтобы все же побыть на солнце, принять ультрафиолета на зиму, ходить за яйцами этот месяц предстояло бы самой Альбине, но и после, когда сын вернется, вовсе не хотелось ей гонять его сюда. Здесь был другой мир, чужой, чуждый тому, в котором жили они, и ни ей, ни кому другому из семьи нечего было здесь делать.

– Цену, Татьяна, хочешь поднять? – понимающе спросила Альбина.

– Так цену – в любом случае, – отозвалась Татьяна. – С водкой-то что вон, не достать. Устроили что с этим постановлением. А без водки как? Доски купить – деньги да бутылку. Машину достать, доски привезти – деньги да бутылку. Водка теперь двойную цену стоит, как я могу не поднять.

– Достану я тебе водки, не волнуйся, – сказала Альбина. – За нормальные деньги. А за яйца – назови цену, я согласна, поднимай, но только уж давай как прежде: домой.

Она полагала, что после этого ее предложения Татьяна точно согласится вернуться к прежним условиям, и реакция Татьяны оказалась для нее совершенной неожиданностью.

– Ой, да идите вы все к лешему, барыны епаны – ни с того ни с сего, ведь не было к тому никакого повода, взорвалась Татьяна, и странно было слышать от нее мат, никогда раньше, за все четырнадцать лет, ничего подобного она себе в общении с Альбиной не позволяла. Сухая, жердястая и в свои неполные пятьдесят, когда начала носить яйца, морщинистая, а сейчас совсем высушенно-сморщенная лицом, она всегда была улыбчива, приветлива, даже угодлива и подобоострастна, как бы признавая перед Альбиной свое более низкое жизненное положение, и к такой к ней Альбина привыкла. – Барыни-растбарыни! Задницы свои геморройные бои-

тесь от кресел оторвать. Присохли они у вас. Не хочешь ходить – не надо, лучше на рынок свезу!

– Да ты что, ты что!.. – попыталась урезонить ее обескураженная Альбина.

– А то! Надоели мне все, терпежу больше нет! Сидишь там у себя в Совете... Хуй твой в городе тоже... Надо же, что придумали: водку не продавать! Тютюрли-матюрли епаные!

– Да ну ты что, какие-такие тютюрли-матюрли, ты мне хоть расшифруй, – насилуя себя на смех, попробовала Альбина еще раз обуздать расхажившуюся Татьяну.

Но ничего у нее не получалось, пришлось отступить, согласиться и на новую цену, и на условие Татьяны ходить за яйцами к ней домой.

А вслед за Татьяной точно тот же фокус выкинула молочница.

Правда, от молочницы, от той Альбина всегда ждала чего-нибудь скверного. Молочница была мордатой угрюмой бабой, старше ее совсем ненамного, но именно бабой: квадратной телом и будто безъязыкой – до того трудно давалось ей каждое произносимое слово. Ее Альбина и побаивалась. Галя, как звали молочницу, могла вдруг и перестать приносить молоко, не появлялась и полнедели, и неделю, а возникнув, спрашивала со своей угрюмой усмешкой: «Так надо молоко, нет?! – будто это не она же по своей воле и исчезала.

Но тут она исчезла, минула и неделя, и вторая, а она все не объявлялась, и Альбине, как ни воротило с души, пришлось идти к ней.

Молочница жила в той же стороне, что и Татьяна-птичница, но еще дальше к лесу. И дом у нее был уже совершенно деревенский – с низкими потолками, с низкой дверной притолокой, с маленькими, крохотными окнами без форточек, – и совершенно деревенским был двор: огородный плетень – из редких полусгнивших, черных жердей, дорога от ворот в глубь двора, к хлеву – растоптана, разбита коровами в грязное месиво, и такая всегда, в самую сухую погоду, и всех фруктовых деревьев на участке – две яблони с вишней, а вся остальная земля – картошка да картошка.

– О! – сказала молочница, увидев ее. – Молоко понадобилось?

Так, словно это не она исчезла, а Альбина. Исчезла и не возникала, а вот подперло – и появилась.

– Ты где же это, Галя? – спросила Альбина как можно непринужденнее, улыбаясь и стараясь, чтобы в голосе ее не было упрека. – Что случилось?

– А чего долго шла? Недели две, поди, – не отвечая, сказала молочница.

– Как это я «шла»? – не поняла Альбина. – Это ты где? Вдруг – на, нету и нету, как это так...

– Теперь так, теперь, значит, все сами за молоком ко мне ходить будут, – усмехаясь своей угрюмой усмешкой, прервала ее молочница.

– А что такое... – снова начала было Альбина, и снова молочница не дала ей договорить.

– Так то, что нас с коровами совсем никого не осталось. Вон лето-то. Напасись-ка сена по такой мокряди. А комбикормов не накупаешься. Никто и не носит теперь. Это я тебе, дура... А чего я буду, как дура. У меня нарасхват. Надо – сама приходи.

Не случись того же с Татьяной совсем недавно, вот только-только, так что Альбина не успела смириться до конца со своим новым, унижительным, как она ощущала, положением просительницы, она бы, наверное, удержалась, не дала воли своей амбиции, но Татьянин отказ еще горел в ней жаркой пощечиной, и второй она не снесла.

– Что, водку трудно покупать стало? – язвительно спросила она. – Много сил на добывание уходит?

Она уколола молочницу таким образом, вспомнив нелепые доводы Татьяны-птичницы, но она забыла, что для молочницы любое прикосновение к этой теме было все равно, что иголкой в гноящуюся рану, потому что муж ее уже дважды сидел в ЛТП – вполне, конечно, бесмысленно, умудряясь регулярно напиваться и там, а уж по выходу устраивая такие загулы, в

которые спускал с себя все до трусов, – пил уже вчерную и старший сын, влетев по пьянке в какое-то уголовное дело и отбывая сейчас срок в лагере. Они разговаривали на крыльце – Альбина взошла на него, собираясь постучаться, занесла руку, и тут дверь распахнулась, выпуская из себя молочницу с подойником в руках, – крыльцо было широкое, большое, метр, не меньше, разделял их, – это и спасло Альбину. Лицо у молочницы, едва Альбина помянула про водку, густо налилось кирпичной кровью, и она, размахнувшись, мотнула перед собой подойником, целя Альбине в голову. Но Альбина отшатнулась, и, тускло блеснув, металл ведра промелькнул у нее перед глазами.

– Ах, ты, сука такая! – глухо выдавила из себя молочница, снова заноса руку с подойником для размаха, и Альбине, на ощупь, перехватываясь руками по скользким после дождя перилам, вперед затылком, чтобы не выпустить молочницу из поля зрения, пришлось скалиться по ступенькам вниз. – Ты, сука, еще в мою жизнь будешь лезть?!

Ни о каких дальнейших переговорах после подобного не могло быть и речи. Теперь – только разорвать отношения. Разом и навсегда.

– Дуй свое молоко сама! Залейся им! – выкрикнула Альбина с земли, отпуская в себе все стопоры и вкладывая в свои слова все наслаждение ответной ярости. – Тощее молоко, тощее год от году! Разбавляешь почему зря, наживаешься!

Это было истинной правдой, пенка на молоке, когда вскипятишь и дашь затем отстояться, поднималась прежде в палец толщиной, потом стала с каждым годом все утоньшаться и утоньшаться, и последние года два так и просилось упрекнуть молочницу в этом.

– Наживаюсь, нет – не твое дело! – тяжело забухала сапогами вниз по ступеням молочница, ожидать от нее сейчас можно было чего угодно, неизвестно чего, и Альбина предпочла убраться восвояси: повернулась и, оскальзываясь в грязи, пошла как можно быстро к воротам.

Молочница своим угрюмым, тяжелым голосом прокричала ей вслед что-то еще, – она уже не вслушивалась и не разобрала что.

Но теперь нужно было найти ей замену.

Так их молочником стал Семен.

О Семене она слышала и раньше. Что появился у них в поселке настоящий куркуль, бывший заместитель директора строительного техникума из города, держит трех коров разом, несколько телят да еще чуть не гурт овец, – целую ферму устроил у себя на участке, соседям от него никакого покою нет. Место Альбины в поссовете было самым широким перекрестком в поселке, и через день после скандала с Галей она уже знала, где он живет. То, что о нем рассказывали, делало его личностью во всех смыслах примечательной. Прежде в поселке были только молочницы. То есть, разумеется, в домах, где держали коров, непременно имелись мужчины, держать корову без мужской силы было б немисливо, но мужчины там, без исключения, находились в тени, рабочая сила – и все, а собственно всеми молочными делами заведовали женщины. У Семена же торговые дела вел именно он. Жена доила корову – и ни во что дальше не вмешивалась, а уж он вел все переговоры с покупателями, самолично наполнял банки и бидоны, делал отметки в тетради о долге. И кроме того, у него была самая высокая цена в поселке. «Не хотите – не берите, на творог перетомлю и на рынке продам», – говорил он, и у него брали: молоко его, по отзывам, было не похоже ни на чье другое, душистое по-особому, роскошный букет ароматов, будто бы бархатное на язык, чем он, интересно, говорили о нем, и кормит коров, если они доятся у него таким молоком.

Семен оказался лысоватым человеком лет сорока пяти, с круглым пухлым лицом и круглыми, светлыми шильцами смотревшими глазками, донельзя говорливый и прилипчивый – прилипчивее банного листа.

– Ой, кто пожаловал, кто пожаловал! – встретил он Альбину, взяв ее руку словно бы для приветствия, и тер ее, мят в своих руках с полминуты, не давал отнять. – Власть к нам пожаловала, вот те нате вам. Молочко понадобилось власти, молочка Семенова, не иначе, а?

– Да, хотела бы о молоке договориться, – сказала Альбина.

Она вспомнила Семена. Года три назад это было. Он объявился в поссовете с документами на покупку дома в поселке, и шли эти документы, разумеется, через нее. Через нее шло много таких документов, и спустя месяц она уже могла не узнать человека, но Семена она тотчас узнала. Семен хотел обойти закон. Хотел стать владельцем сразу двух жилищ: и квартиры в городе, и дома здесь, в поселке. Так, чтобы и квартиру в собственно городе, и дом здесь, не получилось в свою пору даже и у них с мужем. Пришлось выбирать. А у Семена, выходит, получилось. Она тогда остановила его документы, он ходил скандалил, и длилось это и месяц, и другой, и третий, она ушла в отпуск, уехала вместе с детьми в семейный пансионат в Судак, на Черное море, а когда вернулась – он уже больше не возникал, и она о нем забыла. А оказывается, у него все получилось, и Семен-молочник и тот Семен – это было одно лицо!

– Молочка все хотят, все хотят молочка, как же без молочка! – сказал Семен, отпуская, наконец, ее руку. – Хлеб да молочко есть – все, дело в порядке, сыт будешь. Молочко – это ведь не водица, это тебе и творожок, и сырок, и маслище, режь хлеб, намазывай, хлеб с маслицем – что ж лучше-то, а?! А? Что власть-то думает? – потребовал он от Альбины ответа на свою бурную тираду.

– Да, разумеется, – коротко согласилась с ним Альбина.

– Что разумеется, что разумеется, что это за ответ – «разумеется»? – Голос Семена построжел – будто он был на экзамене, и Альбина отвечала ему на отметку. – Вы мне скажите по-человечески, ясно, четко и внятно: нельзя без молока, хана без молока, капец и капут, а?

– Да ну что же, конечно, – только и смогла выдавить из себя Альбина.

Неприятен ей был Семен, и если бы не нужда, ответила ему совсем по-другому, а пришлось вот и терпеть его словесное извержение, и еще вести с ним разговор.

Семена на этот раз устроил все же и такой ее ответ.

– Нельзя без молочка, никак нельзя, правильно, – резюмировал он. И спросил: – А сколько надо? Литр? Два? Три? Каждый день, через день?

Альбине было бы удобнее через два дня, взять сразу побольше, чтоб пореже ходить, но, выслушав ее пожелание, Семен отрицательно помахал рукой.

– Нет, так не пойдет. Молочка хотите – давайте по-моему: через день. Через два дня – такой практики у меня нет. Через день. Или каждый день. Хотите каждый день? У меня многие каждый день ходят. Довольны! Как клуб здесь у меня. Пока коровы там доятся – посидят, поговорят, пообщаются, Где еще общаться? Вот у меня!

– Да чем вас через два дня не устраивает? – попыталась настоять на своем Альбина.

– Я сказал. Через день. Или каждый день. Так – пожалуйста. По-другому – нет. – В голосе Семена была непререкаемая твердость, которой, казалось бы, при такой его говорливости неоткуда было и взяться.

Потом, позднее, Альбина поняла, почему его не устраивало, чтобы она брала молоко так редко: большими порциями слишком сложно было равномерно распределить молоко среди многочисленных покупателей. Но сам Семен объяснить ей это не мог. Не то что не хотел – не мог! Против его естества было объяснять кому-то что-либо.

Но о том, что занимало и заботило его, об этом как раз он очень любил поговорить, и «клуб», о котором Семен поминал Альбине в первый ее приход к нему, был нужен, собственно, ему самому.

– Ага, ну так готовьтесь, готовьтесь, припасайте в кошельках, я посмотрю-посмотрю и подниму плату за литр еще на полтинник, – говорил он, прохаживаясь по дорожке перед бревнами у него во дворе, на которых, в ожидании, пока коровы будут подоены, сидели, с бидончиками и банками в руках, его покупатели. – Я мини-трактор себе, чтобы сено возить, вынужден был купить? Вынужден. Косцов мне нанимать пришлось? Пришлось. Это все, как говорится, производственные расходы. Мне их кто возместит? Как нас учит политэкономия, возместить

их мне должен потребитель. Потребитель – это кто? Это вы! Значит, я посчитаю, посчитаю – и подниму.

– На полтинник, Семен, это же дорого, ты что! – непременно говорил ему кто-нибудь с бревен.

– Полтинник? Дорого?! – останавливаясь, изумлялся Семен. И соглашался. – Вообще дорого, конечно. Но куда денетесь, будете брать. Другие все следом за мной поднимут, Куда денетесь.

Голубоватые шильца его глаз светились довольством и истинным наслаждением, которое он получал от своего «выступления».

– Альбина Евгеньевна, дорогая моя, куда же вы, стойте, не уходите! – говорил он Альбине, налив ей молока и занимаясь следующим покупателем. – Стойте-стойте, у меня к вам вопрос, так просто вы от меня уйти не можете. – И, наполнив банку другому покупателю, подпихивал того рукой к выходу с веранды, где обычно разливал молоко, а Альбину брал за локоть и придвигался к ней поближе: – Ну-ка вы мне расскажите, у вас муж такой человек, он с вами делится, что же, значит, с нами будет, куда мы движемся?

Альбина старалась уйти от таких разговоров. Достаточно было того, что она сама ходила за молоком. И за то, что ходила сама, еще платить беседами с ним! Жевать с ним всю эту жвачку, которую беспрерывно жевал и не мог пережевать муж! Еще не хватало.

Ее занимало собственное. И если все же не удавалось уклониться от разговора, старалась перевести его на темы, которые волновали ее.

– Так вы, Семен, как с квартирой в городе поступили? Кто-то в ней остался прописанным? Жена? Но у вас тогда там площади много лишней, вам бы не разрешили.

Семен, однако, только отмахивался от ее вопросов. Он вообще, лишь речь заходила о неинтересном ему, сразу же увядал, взгляд его терял возбужденный блеск, тускнел, – острые шильца как бы затупливались в одно мгновение.

– Ой, Альбина Евгеньевна... ну нашли о чем, охота вам тоже! – говорил он.

Так она и не выяснила, как ему удалось сохранить и квартиру и купить дом, как не выяснила, почему он оставил свое вполне приличное место заместителя директора, дававшее ему какое-никакое, а положение, перевелся на некую полуфиктивную неприсутственную должность для сохранения стажа и стал, в общем-то, *никем*, потому что вообразить себе человека, занимающего более ничтожное положение, чем то, в которое поставил себя он, сделавшись кем-то вроде крестьянина-единоличника, выражаясь старым языком, было невозможно.

– А потому что вам всем жрать скоро нечего будет! – с каким-то особым удовольствием говорил он в ответ на ее вопрос.

– Как это? При чем здесь еда? – не понимала она его. Она не видела совершенно никакой логики в его ответе. Когда он не отвечал – в этом была логика, но в том, как он отвечал в данном случае, она никакой логики не улавливала.

– И тогда я вас всех буду держать в кулаке! Все у меня будете в ногах и в кулаке! – Он воодушевлялся, глаза его начинали остро светиться, вместо того, чтобы увясть, он расцветал. – Будете приходить ко мне: Семен, дай молочка! А я буду решать: этому дам, а этому не дам. А чего? Мое дело. Мое молочко, мне решать!

– В магазин пойду, – говорила Альбина, негодуя на себя, что вынуждена все-таки разговаривать с ним на его темы.

– А что в магазине? В магазине ничего не будет! – восклицал Семен. – Все у меня только. Я вот, овечки подрастут, стричь их буду, я уже деда нашел, он мне валенки катать станет. Я ему двадцатку, с вас – сто. Раздену вас, бездельников. Ведь вы кто? Бездельники! А бездельников наказывать надо.

Подобного Альбина уже никак не могла выдержать. Семен как бы балагурил, говоря все это, как бы все это не всерьез у него было, шутейно, но и шутейно не желала она слушать его.

– Не порите вы чушь! Перестанут завтра покупать у вас молоко – и куда вы с ним денетесь? Всё, позвольте! – решительно отстраняла она Семена с дороги.

И новый день возвращал ее к прежней, привычной, шедшей до нынешнего лета жизни. Но следующий, наступавший за ним, вновь переносил в жизнь реальную, вновь нужно было идти с белым эмалированным бидончиком по улицам, слушать Семена, гуляющего по дорожке перед бревнами, пока жена его доит коров.

Хорошо, жил Семен совсем не в той стороне поселка, где Татьяна-птичница и Галя-молочница. Хотя тоже почти у леса, но в другом конце. Слишком болезненны были для нее происшедшие изменения жизненного уклада, слишком жали душу, заставляя ощущать себя униженной, – не доставало только, чтобы еще Татьяна с молочницей видели ее шлындающей за молоком.

Впрочем, все эти изменения уклада не имели никакого отношения к тому ощущению новой жизни, в ожидании которой она теперь жила. Та, новая жизнь должна была принести ей некую громадную, сверхмерную, беспредельную радость, – она знала это, и ждала именно ее, по ней и должна была опознать наступившую новую жизнь.

5

Непонятная апатия, напавшая на Альбину нынешним летом, к середине августа перешла в ясную, отчетливую тревогу. Теперь она совсем ничего не могла делать, запустив всю свою работу в поссовете, документы, которые необходимо было оформить в день-два, лежали у нее в ящиках стола и не двигались с места, посетители приходили и уходили несолоно хлебавши, не разрешив никаких своих проблем, – мозг ее был не в состоянии ухватить сути их дел, и она сочиняла всякую нелепицу, чтобы только отделаться от чужого присутствия в своей комнате. Председатель поссовета уже несколько раз осмелился на откровенные замечания ей и даже выговоры, что свидетельствовало о его величайшем неудовольствии, а то и ярости. Потому что за все годы, что он был председателем и они работали вместе, он никогда не решался ни на малейший упрек ей – положение мужа охраняло ее надежней всякой брони, – и если уж решился, то значит, его достало по-настоящему.

Но то, что происходило с нею, было совершенно неподвластно ее воле. Тревога ее все нарастала, все нарастала, она не могла уснуть вечерами, просыпалась среди ночи, а утром вставала с таким колотящимся, бешено работающим сердцем, словно провела несколько часов темноты не в постели в расслабленной неподвижности, а в непрерывном, безостановочном скором беге. Тревога эта не имела отношения к сыновьям, у нее было твердое ощущение их полного благополучия: и младшего, продолжавшего отдых в Крыму, и старшего, только что завершившего свою летнюю студенческую практику в стройотряде и без заезда домой рванувшего прогуливать заработанные деньги в Сочи на Кавказское побережье. На всякий случай, однако, она связалась и с тем, и с другим, до младшего дозвонилась сама, старший позвонил по ее телеграфному вызову, – всё с обоими обстояло в высшей степени нормально.

«Трагедия в Сочи», – сделав особую, продолжительную паузу после предыдущего сообщения и закаменев лицом, произнес диктор во «Времени», уже под самый конец передачи. Вчера вечером на Сочи обрушился страшный шквал... река Хобза, в обычное время представляющая собой обыкновенный ручей, разлилась на десятки метров и неслась бурным потоком... снесены в море десятки машин туристов, отдыхавших неорганизованным способом, сорваны палатки, люди остались без одежды и документов, по предварительным данным, около ста человек погибло...³ Диктор договорил, поднял лицо от текста на столе к зрачку телекамеры, – и из Альбины бурно, неудержимо, с клекотом, раздирая горло тугим воздухом, вырва-

³ Данные события произошли 21 августа 1985 г.

лись рыдания, ее всю крутило, вертело, перегибало в пояснице, бросало по комнате от стенки к стенке, она задыхалась, хотела остановиться, прекратить рыдания – и прекратить не могла.

И опять все это не было связано со страхом за сына, который находился не где-нибудь, а именно в Сочи. Наоборот, каким-то таинственным, непонятным образом она знала, что сына происшедшее там не коснулось ни в малейшей степени, и слезы ее были вовсе не слезами горя, а облегчения. Слезами разрядки. Словно бы не разразилась – опахнула дыханием, но не произошла – трагедия куда большая.

– Ну ты что, ты что!.. – ходил вокруг нее, пытался зачем-то взять ее за плечи муж. – Там тысячи отдыхают... тысячи тысяч... и он же в доме, не в палатке, почему обязательно думать...

– Ой, иди отсюда! Отстань! – оттолкнув его, выговорила она, когда, наконец, к ней вернулась способность издавать членораздельные звуки. – Утешитель тоже!..

В ней теперь всегда, постоянно где-то на дне ее существа кипела разрушительная ненависть к нему. Она не ощущала ее в себе каждую минуту своей жизни, но та могла всколыхнуться в ней по самому незначительному, самому невиннейшему поводу.

От сына утром пришла телеграмма: жив-здоров, не волнуйтесь.

А из нее, будто ожидание случившегося в том курортном городе на Черноморском побережье и было причиной, ушла, исчезла напрочь, будто выпарилась одномоментно, та, мучившая ее тревога, заменяясь чувством, похожим на счастье. Это было стыдно, даже ужасно, потому что там погибли люди, сто человек, а может, и больше, тысячи попали в беду, едва уцелев, – но она ничего не могла с собой поделать: как не вольна была в своей тревоге, так была не вольна и в этом чувстве. Ощущение некой легкости, невесомости, как бы полета сошло на нее, и так, с ним, она прожила оставшиеся дни августа и начальные дни сентября. Все в руках у нее начало ладиться, лежавшие в ее столе документы в подготовленном виде перекочевали на стол председателю, и даже сад с огородом дождался, наконец, ее внимания: проредила, прорыхлила клубнику, удалила слабые кусты, обрезала малину, заставила мужа сделать то же со смородиной.

И тут она снова увидела его.

Его не было нигде весь август⁴. То есть где-то он был, жил и занимался всякими делами, в том числе, наверно, и государственными, но в широкой жизни, для всех, он отсутствовал. А тут все газеты напечатали его громадное интервью, данное американскому журналу «Таймс»⁵, а спустя еще несколько дней он появился и на экране телевизора. На интервью в газетах она не обратила внимания, умудрилась элементарно не услышать о нем, хотя муж за ужином два вечера только и пережевывал его содержание – прочитала позднее, задним числом, – но едва он возник на экране – ее тотчас притянуло к телевизору, и она просидела перед ним, не отрываясь, все те десять или пятнадцать минут, пока он был на экране.

Теперь он поехал в Западную Сибирь, в Тюмень⁶. И снова, выступив с трибуны в каком-то мертвом, глухом зале перед послушно внимавшими ему людьми в темных пиджаках и темных галстуках под воротничками белых рубашек, оказался посреди рабочей толпы в монтажных металлических касках на головах. Глаз ее тотчас выловил в толпе тех, кто, даже будучи с каской на голове, не имел никакого отношения к этим рабочим-нефтяникам, с которыми он разговаривал, отличил среди них одного, стоявшего почти рядом с ним, за его левым плечом, тоже, как и он, в шляпе, высокого, прямого, с зорким, схватчивым взглядом, и некая, незаметно

⁴ Традиционно первому лицу в руководстве Советского Союза полагалось отдыхать в августе, и Горбачев, насколько известно автору, придерживался этого правила.

⁵ См., например, «Известия Советов народных депутатов СССР», № 246 от 2 сентября, понедельник, 1985 г., Московский вечерний выпуск.

⁶ Речь о поездке Горбачева 4-6 сентября 1985 г. в города Нижневартовск, Уренгой и Сургут Тюменской области, построенные среди болот и тайги специально для освоения и эксплуатации нефтяных месторождений.

когда, болезненно и упруго натянувшаяся тетива в ней расслабилась: все было благополучно, не было для тревоги никакого повода.

И едва эта непонятная тетива в ней расслабилась, она услышала, о чем он говорит. Она услышала – и все в ней вознегодовало. То, что он говорил, не принадлежало ему. Вернее, тот свет, что шел от его глаз, и слова, которые произносил его язык, они были несовместимы. Тетива, что вдруг натянулась в ней, к человеку, произносящему эти слова, не имела ни малейшего отношения. Она не знала, что это должны быть за слова, чтобы они составили одно с его глазами, она не имела о том понятия, она только видела, что говорил человек, который не был им, он настоящий был в глазах, но глаза существовали отдельно от голоса.

– Ну же гадство! – ударила она кулаком по подлокотнику кресла, в котором сидела.

Муж, сидевший поодаль в другом кресле и, как всегда, смотревший вечернюю информационную программу с блокнотом в руках, делая в нем пометки, оторвался от экрана, глянул на нее и бросил пресекающе:

– Что тебе опять не так?

Она не ответила. Досмотрела сюжет о его поездке, поднялась с кресла и вышла из комнаты. У нее было ощущение обмана. Словно бы ее втянули в некую непонятную ей интригу, заставили сыграть нужную роль и, только она сыграла, отставили в сторону, глядя на нее теперь как на пустое место. Тяжелая темная обида была у нее в груди, и в глазах закипали слезы.

А спустя две недели он встретился с ветеранами стахановского движения и теми, кто является, как сказал в закадровом комментарии диктор, стахановцами сегодняшнего дня⁷. Встреча проходила в Кремле, ветераны, на груди – ряды медалей, сидели с благостно-счастливыми, ублаготворенными улыбками на лицах, у стахановцев сегодняшних лица были напряженные, но тоже счастливые, а он опять произносил речь. И вновь то, что он говорил, показалось ей пустым и бессмысленным, невыносимым в бессмысленности, и, наверное, если б не муж с блокнотом на коленях, если б сидела и смотрела одна, она бы на этот раз выключила телевизор.

Дней через пять-шесть муж принес домой несколько листов папиросной бумаги с напечатанным на них блеклым машинописным текстом – какой-нибудь седьмой или восьмой экземпляр.

– Погляди-ка вот, – сказал он. Его распирало особое довольство и словно бы гордость. Он давал ей эти листки как нечто, написанное собственноручно, как бы принадлежащее лично ему.

– Что это? – спросила она, беря листки.

– Самиздат, что, – хмыкнул он. – Не видишь?

Ей было знакомо это слово. Только она никогда не держала в руках ничего подобного. Все эти существовавшие где-то в обход государственных установлений, по нелегальным каналам, из рук в руки распространявшиеся рукописи никогда не доходили до нее.

– Откуда это у тебя самиздат-то?

– Ну, а что? Что такого? – ухмыльнулся он.

– Ну так то, что странно.

Никак у него при его положении не могло быть никаких неофициальных каналов, по которым бы эти папиросные листки попали к нему.

– Такие, значит, времена наступают, будем теперь через самиздат просвещаться, – сказал он.

«Не пора ли нам побежать?!» – было напечатано прописными буквами на первой странице шуршащих листов.

⁷ Встреча имела место 20 сентября 1985 г.

То была статья некоего профессора одного из московских институтов⁸. В статье писалось, как, оказывается, все плохо в экономике страны, дальше так продолжаться не может, темпы роста нужно ускорить, а для этого всему населению страны необходимо потуже затянуть пояса.

Статья будто расшифровывала смысл той встречи со стахановцами, которую показывали по телевизору. Она была ключом, которым все открывалось, дверца распаивалась – и даль неоглядная открывалась взору.

– Сам тоже подзатянешь пояс? – сказала она, возвращая мужу его «самиздат». Она вспомнила Татьяну-птичницу, Галю-молочницу, Семена. – Народ, знаешь, как обозлен?

– Ну, обозлен, не обозлен, государство превыше всего, нужно будет – смирятся, – резко ответил он.

После, вспоминая тот водораздельный момент, когда чувство полета, чувство восторга и счастья, ощущение близости новой жизни окончательно ушло из нее, словно бы высочилось через какую трещину, она всегда, всякий раз натывалась в памяти на эту принесенную мужем статью. Ключ повернулся, дверца распахнулась, и открывшаяся даль отвратила ее от себя.

Все, что происходило вокруг, снова перестало ее интересовать. Как бы та, прежняя сомнамбулическая вялость овладела ею. Как бы жар подернутого пеплом костра, готовый выметнуться пламенем и объять алыми языками наваленный сверху сушняк, остался внутри, под пеплом, не найдя себе пищи.

А вокруг только и говорили о новых назначениях, перемещениях, отставках и арестах, газеты, едва не каждый день, печатали сообщения обо всем этом, муж приносил домой всякие тонкие подробности, которые можно было узнать лишь в его сферах, председатель в поссовете постоянно обсуждал с нею происходящее в надежде разузнать те самые подробности, – но ей не было ни до чего дела. И председателю она не могла рассказать ровным счетом ничего, – все, что говорил муж, в одно ухо влетало, а из другого тотчас же вылетало. И не читала никаких газет, и перестала смотреть ежевечернюю информационную программу по телевизору. И когда случайно перед глазами мелькала в чьей-нибудь чужой газете его фотография или доносился из телевизора его голос с сильным южным акцентом и мягким смазанным «г», ничто внутри не тянуло всмотреться внимательнее, прочесть, остановиться, прислушаться... Муж был выдвинут делегатом на партийный съезд в Москву⁹, съездил, посидел в Кремле, вернулся, полный впечатлений, из него фонтанировало ими днями подряд – все оставляло ее равнодушной.

У младшего сына был трудный год – заканчивал восьмилетку, вдруг обленился и ничего не хотел делать, таскал из школы сплошные двойки, и участковый разок да другой предупредил ее: гляди, видел в дурной компании, – и всю осень и зиму она жила сыном. Никогда не уделяла она ему столько внимания, никогда не уходило на него столько сил. Как-то даже довелось притащить его домой набравшимся до положения риз, и сообщила об этом к великому стыду, не кто другая, как соседка, позвонив по телефону: а вот я сейчас шла, ваш сын под забором сидит... Что такое, почему, чем его пометило? – не дружил ни с кем из детей окрестных домов, все тянуло на окраину, к избам, подальше от кирпича с асфальтом...

Тяжелый у нее выдался этот учебный год. Она очень устала за зиму. Измоталась – так вернее. Ужасно измоталась.

⁸ Автору тоже довелось держать в руках эту статью. Только на вполне нормальной бумаге. Насколько ему помнится, текст ее был подписан именем Исакова, профессора экономики Института народного хозяйства имени Плеханова.

⁹ XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза, проходивший 28 февраля – 8 марта 1986 г. Носил отчетный, вполне безликий характер.

6

С Ниной Альбина была дружна еще в школе. Потом их развело, они не виделись едва не десять лет и вроде бы не нуждались друг в друге, а когда обоим зашло за тридцать, бросило, без всякого внешнего повода, одну к другой и спаяло – не разорвать, только удивлялись: как прожили столько лет, не видясь. Спроси Альбину, зачем ей нужна Нина, она бы не ответила. У Нины шла совсем другая жизнь, у них не было не только общих жизненных дел, а как бы даже и интересов, но вместе с тем, если не разговаривала с Ниной по телефону несколько дней, – возникало чувство, что прожила их впустую. Что-то иное, не внешнее связывало их с Ниной, чем-то иным, невыразимым в словах были нужны друг другу. Увидеться им из-за отсутствия общих дел удавалось нечасто, но когда все же встречались, мало оказывалось целого дня, говорили и говорили, не могли наговориться, из каждой встречи выходил праздник, о котором помнилось после долгие и долгие дни, все время до новой встречи.

Чтобы устроить себе этот праздник, нужно было освободить чей-нибудь из домов: или ее, или Нинин. Они должны были остаться вдвоем и знать, что будут вдвоем достаточно долго. Проще поэтому получалось встречаться у Нины. Когда-то, в молодости, Нина с мужем долго не имели собственного жилья, и дочь их, привыкнув к дому бабушки с дедушкой, так и жила там, приезжая к матери с отцом лишь на субботы-воскресенья, мужу Нины приходилось время от времени убывать в командировки, и вот в этих-то случаях, если им обоим удавалось взять среди недели отгульные дни, они и встречались.

Нина жила в городе, в тесной, крохотной двухкомнатной квартирке, но когда они встречались, у квартирки словно бы исчезали стены.

Впервые за наступивший новый год удалось встретиться только уже в апреле, совсем незадолго перед майскими. Была пятница, двадцать пятое; как всегда, они припасли для встречи шампанское, тянули его маленькими глотками, в бутылке вроде не особенно и убывало, но в голове приятно, с серебряным звоном шумело.

– Ой, да ну дай ты кому-нибудь, вот идиотка, что ты жмешься, – сказала Нина. – Сразу на ноги встанешь, обещаю. Кровь забегает – как у девочки. Какие у тебя противопоказания? Только «за»!

Это Альбина поделилась с нею, что муж стал ей совсем невыносим, раньше давала ему и давала, хотя и знала, что он постоянно имеет еще на стороне, давала – и ничего, все нормально, а сейчас что-то так стала его ненавидеть – ну, не раздвигаются ноги, какой-то механизм, что ли, сломался в груди, как заржавело там все – не пускает, совсем почти не живет с мужем, раз в месяц, не больше, и то со скрипом, а хочется же, требует организм, прямо не вмоготу временами, хоть ори благим матом.

– Я не жмусь, что я жмусь, – сказала Альбина в ответ подруге. Ей было несколько стыдно говорить обо всем подобном, это Нина всегда любила о своей, как она называла, «норке», а о ее, Альбининой, обычно молчали, так ими обеими и воспринималось: о Нининой положено, а о ее нет, – ей было даже не несколько, а ужасно стыдно, у нее, почувствовала она, полыхнуло не только лицо, а и уши, но невозможно было, не было уже сил держать все это в себе – и вот вырвалось. – Я не жмусь, что я жмусь. А «дай», легко сказать. Кому? Где его взять? Первому встречному-поперечному тоже не хочется. И страшно – какой-то чужой в тебя... и не хочется, чтобы любой...

У Нины заблестели глаза.

– Зачем «любой»? Не нужно первому встречному-поперечному. С чего ты выдумала: «первому встречному»? Давай я тебе своего отдам. Давай, ну ей-же-богу! Что мне, жалко для лучшей подруги? У него, знаешь, такой толстый, я в жизни таких больше не видела. У меня

норка вроде не маленькая, а все равно, как входит, – у меня дыхание под горло: кончусь сейчас! Ей-богу! Прямо необыкновенно.

– Ой нет! – От Нининой откровенности щекам и ушам Альбины сделалось еще жарче. – Я не хочу так... механически так. Мне чего-то такого хочется... вот сама не пойму чего... ну, чтоб в груди... чтоб ржавчина там облетела...

Она хохотнула, пытаясь скрыть этим хохотком свое смущение, отпила шампанского, и Нина вслед ей тоже хохотнула и тоже сделала глоток.

– Алька! Да ты любви хочешь! Ничего себе! Чтоб, значит, не только сесть, но и рыбку съесть!

– Любви? – Альбина испугалась. Не хотела она никакой любви. Сама, личным опытом, она не знала, что такое любовь, но за прожитую жизнь ей довелось несколько раз увидеть, как сходили от любви с ума, ломая себе и хребет, и шею, теряя все, что было нажито за предыдущие годы, – только еще подобного ей не хватало. – Нет, не нужно мне никакой любви, ты что! – сказала она.

– Конечно, не нужно, что тебе с ней делать, – подтвердила Нина. – Бери моего, такой кайф получишь, обещаю! За чистоту ручаюсь, он только со мной, заразы никакой не подцепишь.

– Откуда ты знаешь, что только с тобой? – Альбине невольно стало любопытно.

Нина похмыкала.

– Ну, во-первых, такое условие. Из целей безопасности. Но главное, Алька, – опыт! Опыт у меня все-таки – слава богу! Я норкой чувствую. У меня норка – как рентген, он вошел, я его сразу насквозь просвечиваю!

Альбине это было непонятно, но переспрашивать она не стала. Опыт у Нины, особенно, если сравнивать с нею, действительно был большой. Нина, закончив институт, работала конструктором в проектно бюро по каким-то железкам, знала уйму неведомых Альбине вещей и, судя по всему, считалась ценным специалистом, но главным ее жизненным делом, ее настоящим предназначением было рогатить мужа. Вернее, не рогатить, а добавлять к черному хлебу блеклого супружеского существования пряную, сладкую сдобу сторонних связей. Много сил и большой ловкости требовала такая жизнь, но Нине доставало и того, и другого, она рогатила мужа искусно и со вкусом, он и не догадывался о жизненном назначении своей жены.

– Нет, я не хочу так, – снова сказала Альбина. – Главное, чтобы вот здесь, – она подняла руку, показала, – чтобы в груди...

Нина перебила ее:

– Но потом ты снова отдашь его мне. После тебя мне ужасно интересно снова с ним будет, какой кайф, я уже предвкушаю!

Она оторвала ноги от пола и, подняв, поболтала ими в воздухе. Они сидели в креслах друг против друга, разделенные журнальным столом, юбка ее мягким колоколом взметнулась вверх, и перед Альбиниными глазами замелькал узкий параболический переешек ее белых ажурных трусиков.

Альбина засмеялась над этой радостной Нининой непосредственностью. Она любила Нину, и все, что та ни делала, все было хорошо. Да и вообще, оттого, что они, наконец, встретились, сидели друг с другом, тянули шампанское, все в ней только от одного этого смеялось и веселилось, стреляло шипучими воздушными шариками, как шампанское, которое они пили, вообще хотелось все время смеяться и хохотать, без всякой причины.

– Нет, ты знаешь, – сказала она, утирая с глаз набежавшие от смеха слезы, – уж ты меня извини, но испорчу я тебе кайф. Мне бы, знаешь, с мужем все-таки... в смысле толщины, знаешь, он меня вполне устраивает...

И тут кресло, на котором она сидела, вдруг вырвало из-под нее, стремительным, мгновенным махом, будто на гигантских, невероятных размеров качелях, пронесло по некоему пространству, и она обнаружила себя стоящей на вершине высокого холма, небо было застлано

мглистыми тревожными облаками, озерца и речка внизу блестели тяжелым ртутным блеском, дул сырой пронзительный ветер, по пыльной змее проселочной дороги в неимоверной дали двигалось человеческая фигурка, и в босые ноги изнутри земли било могучим колокольным гудом, сотрясая тело до самой теменной кости: УБЕРЕГИ!

– Ты что? Что с тобой?! – метнулась к ней, вскочив со своего кресла, Нина.

– Что? Что такое? – слабо спросила Альбина.

Воспоминание о давнем детском сне оказалось настолько сильным и ярким, привидившаяся картина была такой осязаемо реальной, что ее как оглушило, и она не могла до конца осознать, что по-прежнему находится в маленькой двухкомнатной квартирке подруги, покойно погрузившись в мягкое кресло, и в руках у нее бокал с шипуче стреляющим шампанским.

– Да на тебе лица нет! – забирая у нее бокал, воскликнула Нина и, взяв ее обеими руками за голову, повернула лицом к свету. – Как простыня стала!

– Да? – все так же еще не придя в себя, бестолково проговорила Альбина.

– На, погляди! – мигом смотавшись к серванту, двинув там стеклом полку, сунула Нина ей в руки небольшое прямоугольное зеркальце с откидной металлической ножкой. – Что с тобой случилось?

Альбина взяла зеркальце за ножку и поймала в нем свое отражение. Лицо у нее и в самом деле было как хорошо отбеленная финская бумага, на какой она любила печатать наиболее важные документы. Но больше всего ее поразили собственные глаза. Это были не ее глаза. Это были какие-то чужие глаза, не имевшие к ней никакого отношения! Выражение муки и ужаса стояло в этих глазах. Словно та, которой они принадлежали, прозрела сейчас нечто кошмарное, в чем, может быть, была повинна сама, и отшатнулась в непередаваемом страхе... И однако же эти чужие глаза на выбеленном лице были ее глаза! Что такое увидела она, куда заглянула? Никогда раньше видение того детского сна не совершало с ней ничего подобного.

– Ой, это надо же!.. – простонала она, возвращаясь, наконец, в Нинину квартиру всем сознанием, положила зеркало на стол стеклом вниз и, опершись о подлокотники, поднялась. – Ой, что такое...

– Что, что? – тревожно спросила Нина.

– Да черт знает что... – теперь уже намеренно уклоняясь от ответа, нарочито грубо сказала Альбина.

Она обнаружила: о чем ни за что не расскажет Нине, – это о своем видении. Словно бы ее собственное видение не принадлежало ей, было доверенной ей чужой тайной, проболтаться о которой было бы равносильно самому подлому предательству.

Она пошла в ванную, сняла ватным тампоном с кремом всю косметику, умылась с мылом, крепко и сильно проводя ладонями по лицу, сначала теплой водой, потом самой холодной, какая текла из крана, и кожа на скулах загорелась, жгуче натянулась, и в голову вернулась ясная трезвость.

– Черт знает что, – снова сказала она Нине, объясняясь. – Нервы, знаешь, пошаливают.

– И будут шалить, если так себя доводить, – тут же подхватила Нина. – Хватит жаться, не хочешь моего – ну пожалуйста, но со встречным-поперечным тебе тоже не хочется?!

И снова они пили шампанское, мерили и обсуждали всякие Нинины обновы, показывали друг другу, перебирали новые украшения, появившиеся у каждой за время, что не виделись, опять пили шампанское, прикончили одну бутылку и принялись за вторую, поели, вновь проголодались и еще раз поели, и так день подошел к концу, наступил вечер, перейдя в ночь, и Альбина осталась ночевать у Нины, как это почти всегда у них и происходило: то ли она у Нины, то ли Нина у нее. Приятно было продлить встречу до утра следующего дня. Пусть просто спали под одной крышей, этой проведенной бок о бок ночью встреча переводилась в некое новое качество, наполнялась неким особым смыслом.

Нина легла на раздвижной узкой тахте в комнатке поменьше, а Альбина, как всегда, когда оставалась у Нины, – на раскладном мягком диване в комнате побольше. Альбине нравился этот Нинин диван, нравилось раскладывать его, а потом поутру убирать, нравилось засыпать на нем и, засыпая, открыв случайно глаза, увидеть вокруг не свою, а Нинину комнату...

Она проснулась от крика. И, просыпаясь, поняла, что это она и кричит. Она кричала так страшно, таким задвленным, диким, рвущимся откуда-то из самых кишок голосом, что, проснувшись, все продолжала кричать – уже от ужаса перед этим своим невольным, раздирающим все ее нутро сумасшедшим криком.

– Ты что?! Что случилось?! – услышала она над собой Нину, и увидела, что в комнате горит свет, и осознала себя лежащей почти поперек дивана, со свесившейся вниз, заломленной назад головой. Сердце колотилось грохочущим молотом в груди, в висках, в щиколотках, кровь не умещалась в сосудах, они готовы были лопнуть под ее пульсирующим напором.

Нинин голос прервал ее крик, но ответить Нине что-то членораздельное было не в силах. Она смотрела снизу на Нинино лицо над собой, молчала, тяжело дыша, потом с трудом, мелкими змеиными движениями двинула себя по дивану и втащила на него затекшую, онемевшую голову.

– Что-то приснилось? – спросила Нина.

Теперь Альбина смогла сделать головой отрицательное движение. Ничего ей не приснилось. Во всяком случае, она ничего не помнила. И однако же внутри была твердая, неколебимая уверенность, что произошло нечто ужасное, кошмарное и она могла это предотвратить, не дать случиться, – смогла бы, если б не была так сосредоточена на себе, так эгоистично и подло озабочена только собой...

– Но что с тобой, что такое? – с беспокойством, настойчиво спросила Нина.

У Альбины разлепились губы.

– Не знаю...

Глазам было больно от света, она закрыла их – и снова открыла.

– Который час?

Нина оглянулась на будильник за спиной.

– Двадцать четыре минуты второго. Почти двадцать пять. Самая ночь.

– Ох, извини!... – Голос возвращался к Альбине, возвращалось дыхание, и сердце, уйдя из ног и головы, уже колотилось только в грудной клетке. – Не знаю, что это такое... все вроде нормально...

Но между тем тревога внутри не оставляла, и еще минуту-другую спустя она поднялась, взяла телефон и позвонила домой.

– Аллë! – прохрипел в трубке сонный голос мужа.

Дома все оказалось спокойно. По ее требованию, оставив трубку, муж сходил в комнату сына и, вернувшись, подтвердил: спит без задних ног, лоб потрогал, температуры нет, можешь быть уверена. Тогда вызывай машину и отправляйся к старшему, потребовала она. «Охренела?» – спросил муж. Она заорала на него, не стыдясь сидящей рядом в ночной рубашке Нины, и положила трубку лишь после того, как он дал-таки ей обещание, что вызовет дежурную машину и съездит, проверит, что со старшим.

Старший сын жил здесь, в городе, в студенческом общежитии – как захотел, только поступив в институт, до телефона на общежитской вахте дозвониться было невозможно ни днем, ни ночью, поэтому она и послала мужа.

Тот час с минутами, что Альбина провела в ожидании ответного звонка мужа, показался ей равным всей предыдущей жизни. И когда, наконец, звонок раздался, была уже готова к самому худшему. Боялась смого худшего – и была готова.

Но и со старшим все оказалось в порядке. Спал, и муж разбудил его вместе со всей его комнатой. Разбудил – и толком не мог объяснить сыну, зачем объявился у него в общежитии

среди ночи. Как идиот какой там выглядел, сказал он. Почему «как», не удержалась на радостях она от укола.

И однако ее не отпускало до конца. Что-то внутри не давало расслабиться, побуждало к каким-нибудь действиям – непонятно каким, куда-то пойти, с кем-то встретиться... словно бы какая лихорадка била ее. До того, в ожидании звонка, она уже выпила какого-то валоседана, что нашелся у Нины в холодильнике, выпила без малого полпузырька валерьянки, а теперь выпила еще, накапав в рюмку, и какого-то валокармида, который Нина тоже откопала в своей аптечке, соленого, как огуречный рассол.

– Все, теперь будешь спать слаще младенца, – сказала Нина, гася ей свет и отправляясь в свою комнату.

Младенческим ее сон назвать было никак нельзя, это было нечто похожее на обморок: она проваливалась в сон и выныривала, проваливалась и снова выныривала, и так всю ночь, и утром поднялась оглушенная, с такой головой, будто та распухла и была ощутимо больше своих истинных размеров.

– Боже мой, да ты же совсем рехнутая стала, я и понятия не имела! – говорила ей за завтраком Нина. – Такое с тобой творится! Завязывай со своей целомудренностью, я тебе со всей серьезностью! Если тебя мораль угнетает, так у тебя все права: благоверный твой столько мочалок перетер... О собственном здоровье ты подумать должна?

Альбина кивала своей распухшей, словно бы тыквенного размера головой, как бы соглашаясь, но не отвечала. В груди лежал тяжеленный камень, давил и разрывал внутренности, и камнем этим было чувство: допустила, не уберегла, виновата! Что она допустила? В чем виновата? От чего не уберегла? Кого? Никакого ответа в ней не было, а только смутное, похожее на колеблемый ветром туман, зыбкое ощущение: то, чего не произошло тогда, в августе, произошло сейчас...

Муж, когда вернулась домой, устроил ей скандал.

– Ты, говнючка! – кричал он на нее. – Ты чей хлеб ешь, ты понимаешь?! Меня с утра сегодня, несмотря на субботу, на ковер выдернули! Так за ночной вызов холку намылили – я еле живой выполз! Климакс у тебя начался – фортели такие выбрасывать? Что такое ночной вызов, ты понимаешь? Это ЧП, это объяснилочку писать, на этом погореть – дважды два! Погорю, что делать будем, лапу сосать станем?!

Он не часто позволял себе с ней подобное, груб был и хамоват – это да, но чтобы так бушевать – значит, его действительно припекло.

Она не оправдывалась и не огрызалась – в ней не было ни чувства вины, ни протеста, она просто пропускала весь его крик мимо ушей: ну, поорет, спустит пар – и перестанет, выдохнется. В ней было полное, абсолютное равнодушие к его неприятностям. Ничего, выкрутится. Подумаешь, холку ему намылили.

– Там действительно ЧП происходит, люди гибнут, а она: в общежитие сгоняй! – кричал, спускал пар, буйствовал муж. – Сейчас сколько голов летит кругом, знаешь? Сажают и расстреливают, знаешь? Новая метла метет, представляешь хоть, что такое – новая метла?!

– Погоди, – сказала она. Из всего, что он проорал, до нее дошли только самые первые его слова. – Где ЧП? Где люди гибнут?

– Где надо, там и гибнут! – ответил он.

– А если нормально? – теперь она почувствовала раздражение. Надо же брякнуть такую глупость: где надо, там и гибнут.

– А если нормально, то нечего спрашивать! – он так кипел, что его, казалось, разорвет. – Ничего пока не известно толком. Панику не сеять, главное! А вам расскажи – из вас тут же брызнет, зафонтанируете!

– Кто это «мы»?

– Вы! Все! Кто еще. Не понимаете ни хрена, что такое страной управлять!

- Ну, а ЧП тут при чем? – попыталась она все же вытащить из него какие-то сведения.
- При том, что не надо из него ЧП делать!
- Как это из ЧП не делать ЧП?
- Так это!

И как она ни настаивала, сколько ни теребила его еще, чтобы он прояснил свои слова, ничего внятного он больше ей не сказал.

Она узнала, что он имел в виду, два дня спустя, из короткой невразумительной информации в вечерних новостях по телевизору, быстро проговоренной среди прочих. Она сразу поняла: это то самое¹⁰.

А еще два дня спустя в «Правде» появилось первое печатное сообщение: «От Совета Министров СССР»¹¹. Оно было совсем коротенькое, три узких столбца по четырнадцать строк, и все в нем – глухо, невнятно, словно вырывалось из сдавленного горла, через стиснутые зубы. Она прочитала его раз, потом другой, потом третий, медленно проползая глазами по каждой строчке и шепча вслух слова, и когда она подсчитала строчки, каким образом и почему это число так прочно врезалось ей в сознание? Спроси ее об этом, она бы не ответила. Зато почему-то она точно знала, что все сообщенное – лишь малая часть правды, почти вообще не правда, все хуже, много хуже, ужаснее – вот вернее, и теперь, раз появилось первое, следует ждать других, новых сообщений, более и более ужасных...

Майские были необыкновенно теплы, свежая зелень, в несколько дней схватившая свою нежной кружевной пеленой мокрую неопрятную землю, скрыла собой все ее весенние мусорные грехи, небо стояло над головой изумительной ясности и глубины, старший сын, почувствовав, должно быть, после отцовского ночного визита некую вину за свое постоянное пренебрежение родительским домом, приехал после обязательной демонстрации на центральной площади города провести все четыре нынешних дня праздников в семье, что было такой радостью, такой удачей – вот уж действительно должен был выйти праздник, но, осознавая это и временами, забывшись, даже ощущая себя счастливой, большую часть этих дней она была угнетена, подавлена, и, когда приносили почту, первой бросалась к газетам. В газетах теперь печатались уже не короткие невнятные информации, а громадные статьи, и, с жадностью читая их, она как бы складывала из отдельных осколков мозаичную цельную картину, узнавая в ней ту, которой, лишь неосознанно, уже, оказывается, владела...

А после праздника Победы она начала ждать встречи с ним. Она чувствовала, встреча должна произойти вот-вот, может случиться в любой день, в любой момент, и на работе у нее постоянно было включено радио, и, что бы ни делала, все время прислушивалась к исходящим из него звукам, а дома, мешая всем, беспрерывно работал телевизор, и она не давала никому уменьшить громкость, чтобы не пропустить момента предуготовленной встречи. Она знала, что встреча должна произойти, была в ней уверена, а временами представлялось даже, что произойдет вживе – ведь ездит он по разным местам, и почему ему не объявиться у них? – но это лишь временами, а реально она ждала ее в том виде, в каком то было действительно осуществимо.

Ждать пришлось всего несколько дней. Он появился в программе все тех же вечерних новостей, в самом ее начале, лицо его было сосредоточенно-сурово, с подобранно-государственными складками у губ, заговорил, впервые за все двадцать минувших дней назвав имена погибших и впервые объявив цифру госпитализированных и число умерших в больницах, но, слушая, она не вникала в слова, она глядела в его глаза. Она вглядывалась в его глаза и видела: он ничего не понял! То есть он знал, ясно было по его глазам, много больше того, чем гово-

¹⁰ Как зафиксировано в официальных документах, взрыв на Чернобыльской атомной электростанции произошел в ночь с 25-го на 26-е апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты.

¹¹ «Правда», ежедневная газета Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, основана 5 мая 1912 года В.И. Лениным, номер за 30 апреля 1986 г.

рил, он не говорил и десятой части того, что знал, двадцатой части, сотой! – но, зная все это, он не понимал истинной сути происшедшего, истинное значение было скрыто от него, и он не видел в происшедшем угрозы тому будущему, ради которого был призван, ради которого и выступал сейчас, происшедшее было началом цепи, звенья которой, прочно перехватываясь одно за другое, вели во тьму, мрак, в пропасть...

Откуда, каким образом была в ней подобная осведомленность, она не имела понятия, но она нисколько не удивилась тому и ни на мгновение не усомнилась в своем знании. Она испытывала чувство вины перед ним. Столько месяцев совершенно не думала о нем. Но следила за его действиями, не обращала никакого внимания, чем занимается, – будто его и не было!

Младший сын, пробегая по своим делам мимо нее, впившейся в телевизор, глянув на экран, пропел речитативом:

– Ускоренье – важный фактор,
Но не выдержал реактор.
Кроет вся Европа матом
Наш советский мирный атом.

– Идиот! – мигом вскипев, крикнула она вслед ему. Тут же пожалела об этом, потому что нехорошо, недостойно было вымещать на сыне свои чувства, но не удержалась и добавила: – Нашел, над чем насмехаться!..

7

С этого дня жизнь ее с утра до вечера была заполнена одним: знать о нем все, что возможно, о каждом его шаге, который получает огласку, не пропустить ни единого сообщения о событиях, в которых он принял участие, не просмотреть любого, самого незначительного его появления на экране телевизора, и всякое сказанное им слово ловилось ею с особым напряженным вниманием и обдумывалось после с той особой напряженной тщательностью, с какой, помнилось ей – до головной боли, до разламывания черепных костей, – обдумывались в свою пору, когда дети были маленькими и заболели, небрежно-скороговорчатые, малопонятные слова врача об их болезни. Она теперь жила словно бы в некоем невидимом, но несомненно физическом облаке взаимодействия с ним, и у нее было чувство, что он тоже знает о ней, вернее – ощущает ее присутствие рядом с собой в этом облаке и не волен выйти из него, пока она окружает его им.

Все лето только и было разговоров о случившемся перед майскими. Газеты едва не каждый день печатали репортажи с места катастрофы, которое теперь пытались обезопасить возведением бетонного кожуха над смертоносным разрушенным зданием, по телевизору то и дело показывали передачи, в которых исследовались причины происшедшего, выступали ученые – недоумевали, как это могло произойти, говорили об одной миллионной, которую составляет вероятность того, что произошло, и, минуя все официальные каналы, приползали самые жуткие слухи об опасностях, которые продолжает таить в себе взорвавшийся реактор, и муж, когда передавала ему эти слухи, чаще всего подтверждал их. Один из слухов был страшнее других: будто реактор день ото дня разогревается все больше, остановить повышение температуры не удастся, фундамент под ним скоро расплавится, а под фундаментом – заполненный водой котлован, и если реактор ухнет туда – вот это уже окончательная, непоправимая катастрофа, никак к нему больше не подберешься, и он годы и годы, целые столетия по водным подземным капиллярам будет точить смертью. «Ну, ты развешивай уши больше!» рявкнул на нее муж, когда она спросила его о достоверности подобных толков. Ничего не подтвердил на этот раз и не опроверг; но она все же знала его, знала все его ухватки и хитрости, и он более, чем под-

твердил слух: он заткнул уши себе и ей рот при одном лишь поминании слуха, а значит, что-то похожее на такое было, угрожало и действительно могло разразиться.

Спустя несколько дней она поймала себя на том, что временами вдруг начинает безмолвно, только иногда шевеля губами, шептать одни и те же слова: «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» Она шептала их абсолютно помимо воли, совершенно не включаясь сознанием, и, когда поймала себя на этом, поняла, что шепчет их при мысли о слухе, от поминания которого, вместо того, чтобы подтвердить его или опровергнуть, заорал на нее муж. Но, осознав это, она не стала бороться с собой, как можно было бы предположить, наоборот, теперь при мысли о случившемся перед майскими, она уже вполне осмысленно принималась повторять: «Нет. Никогда. Ни в коем случае! Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – и реально слова эти связывались в сознании прежде всего с ним. И когда в разговорах возникало его имя или когда, по некоей ассоциации, оно возникало в ней само по себе, она тут же, как заклинание, повторяла несколько раз: «Нет. Никогда. Ни в коем случае!»

В июле Семен-молочник, как обещал еще в прошлом году, поднял цену за молоко на полтинник. Предупредил он об этом загодя, за неделю до июля, примерно так, и всю эту неделю, прохаживаясь перед бревнами во дворе с сидящими на них в ожидании молока покупателями, разглагольствовал:

– Вот и дождались, что поделаешь, рано или поздно должно это было произойти – поднимает Семен цену. Поднимает Семен цену, что поделаешь. Да ничего не поделаешь, куда вы денетесь? В магазин, что ли, пойдете? В магазинах-то вам и раньше не нравилось, а теперь и боитесь еще. Боитесь, ага? Я б тоже боялся. В магазинах пойдешь узнай, откуда оно. Счетчик Гейгера около него, может, как пулемет, строчил бы, да? А у меня известное дело – здесь все, на наших травках, полная гарантия! Кому тяжело – пусть поменьше берет, что ж поделаешь. У меня вон желающих целая очередь, у меня ни литра не останется, все разберут, я в обиде, если поменьше, ни на кого не буду...

Глаза его радостно светились довольством и любовью к себе, голубоватые их шильца ощупывали сидящих перед ним слушателей с требованием дать ему такую же меру любви, но лица его покупателей выражали только затаенное огорчение и досаду, и Семен тоже огорчился:

– Вы, наверно, думаете, Семен рвач, Семен кулак, да? Думаете, думаете! А чего тогда сам никто коровку не заведет? Чего никто не заведет, я спрашиваю? Слабо завести, а, Альбина Евгеньевна? – непременно обращался он к ней, если она, неверно рассчитав время, приходила слишком рано и оказывалась невольной в числе его слушателей.

Она ничего не отвечала ему, только улыбалась рассеянно и неопределенно пожимала плечами. Она бы и могла ответить, но ей было элементарно лень. Он мог добавлять еще полтинник, и рубль, и два, и не в том дело, что любое повышение цены было посильно ей, а просто все это не волновало ее. Совершенно все это было не интересно ей. У нее был теперь лишь один интерес, и она жила только им.

На август муж взял для себя и нее путевки в Мисхор, в первоклассный санаторий, в который до того ему ни разу не удавалось попасть, даже при его положении, младшему сыну купили путевку в молодежный туристический лагерь, располагавшийся в долине неподалеку, все повседневные жизненные заботы были переложены на других, – и тело ее отдыхало, нежило себя на утреннем солнце и в истомной прохладе соленой морской воды, но внутри она вся была натянута тетивой, и с такой силой, что тетива эта как бы позванивала, дрожа от разрывающего ее напряжения.

Здесь уже, в санатории, она обнаружила, что с самых первых дней августа не получает никакой информации о нем. Из газет исчезло его имя, не проходило никаких мероприятий с его участием, – в прежние годы это означало только одно: его вполне официальное исчезновение в скором времени. Она забеспокоилась, даже, пожалуй, запаниковала и, прожив в таком состоянии некоторое время, не выдержала, спросила мужа, что это может значить. Ответ ока-

зался до обыкновенного прост. А отпуск, сказал муж¹², должен же каждый человек раз в году иметь отпуск? А он тоже человек, и, кстати, отдыхает здесь, в Крыму, только трудно точно определить, где именно, потому что есть несколько дач, на каждой из которых он может находиться, не угадаешь на какой, но вот имеется одно такое местечко, Форос называется, полсотни километров отсюда, там сейчас новая дача строится, специально для него, и когда достроят, тогда можно будет говорить где – со всею определенностью.

На отдыхе! И где-то в этих же местах, далеко или недалеко – неважно, но где-то на этом же побережье! Теперь ее пребывание здесь, среди кипарисов, войлочных пальм и лакированных магнолий наполнилось настоящим смыслом, исполнилось, наконец, внутренней радости, и с этим чувством – радости и обретенного смысла – она теперь поднималась утром, с ним жила день, с ним ложилась в постель.

Однако та позванивающая тетива в ней странным образом не ослабляла своего натяжения, и те, звучавшие в ней все лето, подобно заклинанию, слова – «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – она повторяла теперь едва не беспрестанно. «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – произносила она про себя в столовой за завтраком, отхлебывая кофе из чашки. «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – укладываясь на пляжный лежак, подставляя тело под ультрафиолет еще нежаркого солнца. «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – выходя, мокрая, обессиленная, из моря после купания.

Что-то должно было произойти. Что-то подобное тому, перед майскими, нанизаться следующим звеном, нарастить цепь, ведущую во мрак...

То, что подобного не произошло, она поняла в день их отъезда домой. Было уже второе сентября, и, хотя у сына срок его пребывания в турлагере закончился несколько дней назад, муж решил, что начало школьных занятий можно пропустить, не страшно, устроил сына на питание в столовой, места в их номере постелить третью постель более чем хватало, и они дожили положенное им время в санатории до конца. У сына был небольшой транзисторный приемничек «Sony», приобретенный мужем, как у них говорилось, на распродаже, сын каждое утро, поднявшись, тотчас включил его, и сообщение, которое прозвучало, едва из динамика вырвался голос диктора, ошеломив ее и ужаснув, в следующий миг наполнило пониманием: *того* не произошло.

Но и то, что случилось взамен, было чудовищно. Было кошмарно, невыносимо для сознания, она словно видела это: штормящее море, ночная тьма, страшный удар, а следом, через считанные минуты, безвозвратный провал в умертвляющую пучину¹³, – и ее бросило на диван, стоя возле которого, все больше и больше бледнея, она выслушала сообщение, и заколотило в рыданиях. «А-аа! А-аа!» – кричала она, задыхаясь. Ей казалось, это ее самое утаскивает вместе с гибнущим теплоходом в морской мрак и она задыхается от воды, хлынувшей ей в легкие. Ее швыряло по дивану из одного его конца в другой, от подушки к подушке, из которых была составлена спинка, она схватила одну и то утыкалась в нее лицом, то колотила ею себя по коленям...

Муж позвонил по внутреннему телефону в медчасть, спустя какое-то время около нее появились, замелькали перед глазами белые халаты, закатали рукав ночной рубашки и сделали укол в предплечье, уложили на диван и, держа, чтоб случайно не вырвалась, сделали укол в ягодицу, она провалилась в забытие – и очнулась по-настоящему уже в поезде: стучали колеса, покачивало, постель на нижней полке была застелена, и она лежала в ней, укрывшись

¹² Альбина не догадалась о том сама, потому что не сопоставила исчезновение имени М. Горбачева из различных официальных сообщений с подобным же исчезновением в начале прошлого года.

¹³ 2 сентября 1986 г. около г. Новороссийска вскоре после выхода из порта пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов» столкнулся с сухогрузным судном «Петр Васёв». Сухогруз врезался в теплоход носом, попав в переборку между отсеками, в результате чего пробоина (6×8 м) пришлось сразу на два отсека, и теплоход затонул в считанные минуты (12-14 минут). Из 800 пассажиров теплохода погибло более половины.

из-за жары одной простыней. То есть она помнила, как сходила по широкой центральной лестнице санаторного здания к машине, помнила, как погромыхивала по асфальту перрона тележка носильщика с их вещами и приходилось спешить, поспевая за его быстрым шагом, но помнилось все это сквозь туман, сквозь вязкую пелену оглушенности, а пришла она в себя только в поезде.

Должно быть, перед тем как прийти в себя окончательно, она спала. Она открыла глаза, обвела взглядом купе вокруг себя – муж сидел на другой нижней полке, читал газету, на верхней полке над ней, судя по свисающей руке, расположился сын, а вторая верхняя пустовала: они купили, чтобы никто не мешал, целиком все купе.

Муж, переворачивая газетные страницы, глянул на нее и увидел, что она проснулась.

– Чай сейчас пойду закажу, попьешь? – откладывая газету, спросил он. Голос его был испуганно-подобострастен. Во она перепугала его. У одного с его работы жена двинулась умом, по полгода обитала в психушке, устроила ему жизнь – вся карьера поплыла, и муж, кажется, больше всего на свете боялся, чтобы на него не свалилось чего-нибудь подобного.

– Пойди закажи, попью, – ответила она. Все в ней было спокойно, даже холодно – как бы подморожено, – и было то действие лекарств, которых, должно быть, вкатили ей лошадиную дозу, или естественное следствие нервной разрядки после услышанного известия?

– Сколько там погибло, на этом теплоходе, я что-то пропустила? – спросила она.

– Там, знаешь, еще ничего точно и не известно! – особо уверенным, густым тяжелым голосом, не дав ей даже договорить, ответил муж. – Там еще все приблизительно, там всяких нарушений было полно, не ясно даже, сколько вообще на этот теплоход пассажиров взяли!

Сын, когда она заговорила, подобрал руку и свесил вниз со своей верхней полки голову.

– Около пятисот человек погибло, что-то так, – сказал он.

– Ты помолчи, ты что лезешь, когда взрослые разговаривают! – схватил его за подбородок муж и, выворачивая голову, заставил убраться на свою верхнюю полку полностью. – Откуда ты взял, там все пока приблизительно!

– Перестань, – попросила она мужа, скидывая простыню и садясь на постели. – Пятсот или шестсот... или четыреста... это уже без разницы.

Да, то, что случилось, было ужасно. Ехали отдыхать, наслаждаться жизнью, танцевать, купаться, пить вино, флиртовать – любовники, новобрачные, семейные пары, вырвавшиеся из круга домашних забот, – собирали, копили, занимали в долг деньги, чтобы купить билеты, – и купили смерть.

Но тем не менее, то, что случилось, было сущим пустяком в сравнении с тем, чему должно было произойти и что не произошло. Она не знала, что это могло быть такое – такое ужасное, что было бы тысячекратно хуже случившегося, – но в ней была твердая, безоговорочная уверенность: *того* не произошло.

Проводница принесла чай в стаканах, втиснутых в алюминиевые железнодорожные подстаканники, сын спрыгнул со своей верхней полки вниз, они поели, и Альбина снова заснула, чтобы проснуться уже следующим утром, почти на подъезде к родному городу.

Впрочем, ослабнув, тетива в ней по-прежнему продолжала пребывать в натянутом состоянии. Она чувствовала, что опасность не миновала, удар не отведен, и не могла позволить себе думать о чем-либо ином, кроме как о грозящей беде. «Нет. Никогда. Ни в коем случае!» – звучало в ней почти непрерывно, с утра до ночи, и временами ей казалось, что от этого постоянного повторения одних и тех же слов она действительно может тронуться умом.

Долго, однако, ждать не пришлось. И вновь то, что произошло, произошло на воде. Только теперь в океане. И, должно быть, в таком открытом, так далеко от всякой суши, что ближайшей оказались Бермудские острова – в тысяче километров от случившегося. И вновь, как в апреле, случившееся было связано с атомным реактором. Как бы две предыдущие катастрофы соединились, чтобы удвоить энергию новой.

Так ей подумалось, когда, сутки спустя после начавшегося пожара, в газетах появилось сообщение об этом¹⁴. Пожар продолжался три дня, и все три дня опять натянувшаяся до звона тетива внутри нее, чудилось ей моментами, должна лопнуть – до того чудовищно было ее натяжение, – и когда все кончилось, лодка затонула, не угрожая больше никакой опасностью, тут, наконец, тетива распустилась, не ослабла, а буквально провисла, и Альбина следом ощутила: тело ее одрябло, сделалось старушечье-слабым, тряпичным, ее может снести с ног любое дуновение ветерка.

Три человека, всего, погибло на этот раз. Три жизни после пятисот – это выглядело теперь как что-то несущественное. Словно бы то были не живые люди, а просто некое абстрактное число, отвлеченная цифра, нечто, поддающееся счету и не более того.

Но самостоятельно, чувствовала она, ей не одолеть свою старушечью дряблость. Ей требовалась какая-то сила извне, требовались подпорки, костыли, на которых бы она могла повисеть некоторое время, восстанавливая себя, она была не способна жить дальше без помощи, ей нужно было приникнуть к какому-то чудодейственному источнику, испытать из него...

Так она оказалась в церкви. Впервые в жизни по своей воле и впервые за последние двадцать лет. В семье ее никто не верил и в церковь не ходил, а сама она была там только два раза в юности, еще до замужества: забегала с любопытствующей компанией своих сверстниц в первый пасхальный день поглазеть на творящееся многолюдное празднество, поглазеть, подивится – не больше. А теперь ноги привели ее туда сами собой. Что ей там делать, каков вообще реальный смысл этого посещения, она не знала. Ноги повели – и она пошла.

А уж когда вошла, все совершилось, будто ее кто направлял. В холодной каменной полутьме желто горели, помаргивали слабые свечные огоньки, наполняя высокое подкупольное пространство как бы теплотой тех неведомых человеческих рук, что эти огоньки возжгли, и она тотчас купила в конторке у входа целых три десятка свечей, и расставила по одной, по две, по три у всех икон, какие были в церкви, и, ставя, зажигая от других горящих и втискивая в узкое гнездо подсвечника, приговаривала неизвестно откуда взявшимися в ней словами: «Прими, Господи, за упокой их душ. Тех пятисот и этих трех. Прими, Господи, и не оттолкни, будь милостив, Господи!...» И потом стояла перед какою-то одной из икон, показавшейся ей почему-то главной, а может, и не главной, а просто той, перед которой ей следовало, опять же почему-то, остановиться, и о чем-то просила – не вполне понимая о чем, о чем-то молила – совершенно не отдавая себе отчета, о чем, собственно, молит; «Господи, дай сил! Господи, дай сил! Не оставь, Господи!» – это только и повторяла, все так же неизвестно откуда взявшиеся в ней слова, а что конкретно стояло за ними, к какой реальной цели они были устремлены, – этого она не знала.

Она не была крещеной, не была, как положено говорить, посвящена, и значит, исходя из церковных канонов, молитва ее не могла быть услышана.

И однако ей стало легче. Она почувствовала это буквально на утро следующего дня, пробуждаясь от сна. Она лишь выплыла из его глубины, еще не открыла глаз, а уже ощутила ясность в голове, по телу было разлито некое умиротворенное спокойствие – как бы она болела и выздоровела, слабость еще не оставила мышц, но больше их не ломило и не выкручивало, подобно отжимаемому белью.

И день ото дня после того она становилась все бодрее и крепче, сбросив с себя недавнюю старушечью дряблость, будто расколдованную лягушачью кожу, и, сосредоточась на себе, наблюдая за своим самочувствием, как-то так случилось, она потеряла из виду его, перестала беспрестанно думать о нем и следить, и, когда спохватилась, было поздно.

¹⁴ «Утром 3 октября на советской атомной подводной лодке с баллистическими ракетами на борту в районе примерно 1.000 км северо-восточнее Бермудских островов в одном из отсеков произошел пожар. Экипажем подводной лодки и подошедшими советскими кораблями производится ликвидация последствий пожара». (Из «Сообщения ТАСС» от 4 октября 1986 г.).

Встреча, к которой он готовился уже много месяцев, состоялась. И завершилась самой унижительной неудачей. Вознесшийся на вершину власти на другой стороне земли актер, с которым он встречался, глядел с экрана телевизора, комментируя прошедшую встречу, высокомерно и раздраженно. Или он совершенно ничего не понимает, или просто беззастенчиво блефует, что-то такое с презрительным сарказмом сказал о нем этот бывший актер¹⁵.

А он сам, на своей, отдельной пресс-конференции, сидел перед журналистами с мрачным черным лицом, это было для него, поняла она по его лицу, настоящей мукой – отвечать на их вопросы: он был игроком, с разгромом проигравшим партию, но условности поведения заставляли его делать вид, будто проигрыш для него ничего не значит и вообще равносителен победе. Ему было впору в петлю от этого проигрыша, а он должен был с важностью рассуждать о достоинствах и недостатках веревки, болтавшейся у него над головой.

Тут, на этой пресс-конференции, она впервые увидела его жену. Наверное, та появлялась рядом с ним и раньше; то есть точно, что появлялась, она вспомнила, как та ходит за ним по самолетному трапу, как стоит около него в окружении толпы встречающих, но почему-то раньше она совершенно не обращала на нее внимания, совершенно не замечала – и оттого, видя, не видела. А увидела вот на этой пресс-конференции.

Возможно, потому, что камера показала ее лицо. Это было лицо, абсолютно повторявшее лицо его. Нет, не похожее, она была совсем не похожа на него, но ее лицо действительно повторяло все то, что выражалось на его лице. И даже не повторяло, а выявляло. Оно не было зеркалом его лица, оно было чем-то вроде увеличительного стекла: то, что на его лице отпечаталось мрачной тяжестью, на ее лице было высвечено как рухнувшая надежда, разбитая судьба, неопределенность будущего.

Она сидела в первом ряду, и камера показывала ее крупным планом несколько раз. И раз от разу Альбина всматривалась в ее лицо все пристраснее. Его жена была неотъемно впаяна в него, во все его повседневное существование – всею своей жизнью, всем своим повседневным существованием. Это было в ее глазах: таких напряженных, выражавших такую готовность к его защите, к любому действию ради него – будто она была его матерью, а он рожденным ею ребенком. Она напоминала пантеру перед броском. И Альбина даже увидела подвыпущенные из жадно раздувающихся мягких подушечек отливающие перламутром острые боевые когти.

Но тем не менее она была лишь *спутницей*. Он нуждался в ней, как она нуждалась в нем, он мог всегда опереться на ее руку, как она на его, но только в том, что касалось этого самого повседневного существования. А во всем остальном, главном, она была немощна, бессильна, тут она не могла помочь ему ничем...

Пантера... тоже мне, с ревнивым чувством подумала Альбина, когда камера показала ее в очередной раз.

Он оборвал пресс-конференцию едва не на полуслове: ответил на какой-то очередной вопрос и, еще заканчивая ответ, вскинул руки, опустил их на стол: «Все, благодарю всех за внимание!» – поднялся и пошел к выходу.

Может быть, там, в зале, камера снимала его дольше, до той поры, пока он не исчез из поля зрения, но по телевизору показали лишь, как он встал и двинулся, и тут все оборвалось. Но и по тому, как он встал, как повернулся, с какой резкостью все это делал, наконец, по его профилю с жестко подобранными губами, на котором и пресеклось изображение, Альбине сделалось ясно, до какой степени он взвинчен, с каким трудом держит себя в руках. Кричать ему хотелось сейчас, а не отвечать с деловитым спокойствием на вопросы.

¹⁵ Во время встречи М. Горбачева и президента США Р. Рейгана, в прошлом голливудского актера, 11-12 октября 1986 г. в Рейкьявике (Исландия) руководство Советского Союза попробовало посредством некоторых уступок американцам добиться от них прекращения исследовательских работ в области космического оружия, на что американцы, разумеется, не пошли.

Но, к ее собственному удивлению, она не испытала того сочувствия к нему, той охранительной материнской обиды за него, того жгучего душевного страдания, которых можно было бы ожидать, судя по ее предыдущему опыту. Ничего, произнесла она про себя, мысленно провозжая его, уже невидимого ей, до двери со сцены, за которой ему предстояло исчезнуть и из поля зрения телекамер, это, что случилось сегодня, как раз не страшно. Это как раз вполне поправимо. Только набраться терпения.

Что она практически имела в виду, откуда в ней взялись эти слова, – она не отдавала себе в том отчета. Это произошло как бы помимо ее воли, без всякого участия ее сознания, вдруг возникло в ней – и прозвучало.

8

Муж между тем день ото дня возвращался домой все более мрачный. Неожиданно, чего с ним не бывало никогда прежде за все прожитые вместе прошлые годы, он начал рассказывать ей за вечерним столом о всяких своих рабочих делах. О том, что там у них происходит, кого куда перемещают, кого убирают вообще, кто сумел перекинуться в тихое спокойное место сам, а кто хотел, но не вышло, и ждет теперь, что с ним будет. Видимо, то, что происходило в той его, недомашней жизни, больше не уместалось в нем, выплескивало через край, и у него появилась потребность отлить из себя кипевшее в нем варево.

Хрен знает что, бардак какой-то, никогда раньше такого не было, говорил он, принимаясь неторопливо заедать твердым колбасным кружком хряпнутую рюмку армянского коньяка. Пятерых сразу ни за что ни про что под суд, да еще по троим предстоит решить, открывать следствие, нет... какого хрена?! Будет у кого интерес работать в таких условиях? Ответственность на себя брать, воз тащить? Ответственность бери, воз тащи – а не ошибись, не оступись, не расслабься, шаг влево, шаг вправо – расстрел? Да на хрена кому все это нужно будет... повалится у него все к херам, рухнет все, не удержится, попомни мое слово!

Она, конечно же, понимала, кого он имеет в виду под «ним». Он всегда говорил о нем без имени, но так выделял голосом, что сразу делалось ясно, о ком речь.

– Почему «у него»? – не удерживалась, спрашивала она. – Он что, один там?

– Слава богу, что не один! А был бы один... но от него все идет, от кого еще! «Гласность», слово какое пустил. Надо было до такого додуматься! Что, чтобы обо всех этих катастрофах писать, народ пугать? Раньше ничего не происходило, что ли, думаешь? Не писали просто! Не писали, не знал никто ничего – и все спокойно. А теперь чуть что... на хрена весь этот шорох нужен?! Всегда все большие дела втихую делались, не хрена о них языком звенеть!

Альбину не задевали эти его высказывания. Как прежде вся его та, внедомашняя жизнь проходила для нее стороной, была ей чужда и неинтересна, так была чужда и сейчас, и если она задавала ему уточняющие вопросы, то лишь потому, что ее точило любопытство, как оценивают в том, внедомашнем мире «его».

– Цэрэушник он, не иначе, – наливая себе из бутылки новую рюмку, говорил муж. – Голову даю на отсечение, цэрэушник! Если бы нет, делал бы, что он делает? Кому это нужно, что он делает? Чтобы так трясло всех, с ног сносило? Никому, кроме ЦРУ!

Хорошенько огрузнув от коньяка, он, если сын уже спал, начинал помогаться ее. Большая его мясистая ладонь, забравшись под юбку и оттянув резинку трусов, сжимала ей ягодицы, раздвигала их, плотно прижимала к промежности, и она, посопротивлявшись, но не очень долго, уступала ему – как стала делать последнее время. Желание тела было сильнее ее ненависти. Муж это последнее время много чаще и куда настойчивее, чем прежде, требовал от нее близости, – видимо, что-то в той системе, к которой он принадлежал, стало иначе, и прихватывать на стороне регулярно сделалось сложно. Но, уступая ему, она почти никогда не получала удовлетворения. Даже простого, физического, что было ей вполне доступно еще совсем недавно.

Ей казалось, внутри нее ходит что-то неживое, словно бы пластилиновое, задыхаясь, скуля, едва не плача, впившись ногтями в мохнатые лопатки над собой, она пыталась пробиться к той знакомой, желанной судороге, которой жаждало тело, колотилась снизу о его тяжесть, будто о некую перегородку, мучительно пробивая ее, – и нечего не получилось, не выходило пробить, не могла пробиться!..

Излив в нее накопившийся в нем тягучий мужской секрет, разом отяжелев и обмякнув, он некоторое время продолжал лежать на ней, плюща ей живот, неумолимо сокращаясь своей пластилиновой плотью, в какой-то миг она переставала чувствовать в себе его присутствие, и он перекидывал ногу через ее бедро, и переваливался на постель рядом. После этого, полежав на спине минуту-другую, несмотря на то, что веки ему теперь должно вроде бы было спать, он снова возвращался к той своей, домашней жизни:

– Критику ту же возьми. Историю нашу охаивать начинают. Это еще что такое? Народ плохо жил? Плохо жил, скажи мне?! Хлеб, сахар и маргарин все всегда имели! Так? Так! А что еще?! Кто-нибудь у нас с голоду умирал? Чего тогда эта критика?!

Тут он начинал ее уже раздражать. А может быть, сказывалось еще и ее неразрядившееся, уползающее обратно в себя, подобно улитке в свою раковину, плотское томление.

– Ладно, хватит тебе, завел одно и то же, как сорока Якова, – отпихивая обеими руками его большое жарко-мохнатое тело подальше от себя, враждебно говорила она. – Что с сыном делать, ну-ка вот скажи лучше? Что по этому поводу думаешь? Катится-катится, ну, как дока-тится?!

С младшим сыном действительно все обстояло плохо. Компания его по-прежнему была в тех, окраинных домах, и, следи за ним, не следи, он пропадал там с утра до ночи. Несколько раз вечерами снова приходил выпивши, в сломавшемся его, загустевшем голосе, когда Альбина принялась отчитывать его и он, перебив ее, закричал: «А уйду совсем, катитесь вы!» – звучала такая готовность сделать себе хоть как плохо, но по-своему, что она испугалась и отступила, и в итоге вышло, что он вытребовал себе право выпивать открыто и впредь. Поселковый участковый, кабинет которого находился в поссоветовском строении, в первой от входа комнате налево, как-то пришел к Альбине и, тяжело ворочаясь в своей милицейской сбруе, садясь на стуле то прямо, то боком, то закидывая ногу на ногу, то снимая, сказал ей: «Ты, слушай, не обижайся... мне бы тебе сто лет не говорить... но вроде как профилактическую беседу с тобой надо... ты мне после благодарна будешь. Насчет сына твоего беседа... знаешь, нет, с кем он околачивается? Там у кого брат, у кого дядька – все через лагерь прошли, там такая капелла подбирается... ты меня извини, конечно, но я должен предупредить. В городскую школу его переведи, что ли!..» Сын, однако, с нынешнего учебного года, как в свою пору старший, и без того учился не в поселковой, а в специальной городской школе, куда по утрам съезжались дети и внуки всего руководящего круга, но оттуда друзей никого не завел и, только возвращался автобусом после уроков, бывало, и не зайдя домой, тут же лупил во все лопатки к своим окраинным друзьям.

Муж на ее требование придумать что-то касательно сына начинал тяжело дышать, воздух вырывался из его ноздрей с гневным шумом, и, мгновение-другое спустя, он говорил с яростью:

– А ты тут что смотришь? Я там целый день... мне спины не разогнуть! А ты рядом тут, проконтролировать не можешь? Телефон у тебя на столе для чего? Сын – это на тебе, это ты давай!

– «Ты», «ты»! – раздраженно отвечала ему она. – Растыкался! Не тыкай и не якай, понятно? Спины ему не разогнуть... – Знала она, как они там не разгибают спин. Всем бы так не разгибать. Нашел кому заправлять арапа. – Ты отец или не отец, ты кто?

Муж снова принимался грохотать какими-то гневными словами, но она больше не слушала его. Она выпустила закипевшее в ней, и сверх того ей ничего не было нужно. Что он мог придумать касательно сына. Ничего он не мог придумать. Прекрасно она это знала.

Незадолго до Нового года он неожиданно позвал ее смотреть какой-то фильм у них в конференц-зале. Никогда такого прежде не случалось. Всякие зарубежные фильмы, не попадавшие на обычный экран, там, в этом их конференц-зале показывали постоянно, но только им, кто там работал, и попасть со стороны, будь ты жена или еще кто, было сложно. А тут фильм был никакой не зарубежный, и кроме того, вроде как их даже заставляли прийти семейно. Словно бы некий особый смысл придавался фильму, особое, как бы государственное, общественное значение, и раз семья, согласно марксизму, являлась ячейкой общества, то было необходимо, чтобы фильм посмотрела не часть ячейки, а вся она целиком, во всяком случае, главной своей, взрослой составляющей.

Идти к нему на службу, сидеть там в его зале, провести вместе с ним целую уйму времени вне дома – ужасно ей этого не хотелось, но было любопытно, что за такой за фильм, на который едва не в обязательном порядке требуют явиться с женой, нарушая все прежние установившиеся правила, и она пошла.

Фильм был снят на широкой пленке, огромный экран разворачивал свое бутафорское действие, застилая все поле зрения, будто втягивая внутрь этой выдуманной, ненатуральной жизни, но и сам по себе фильм был сделан весьма искусно, заставлял смотреть себя, и едва не три часа его как пролетели. Женщина пекла невиданные, сказочные торты и выкапывала труп всевластного вельможи из могилы. Женщина была в давние времена девочкой и девочкой была свидетельницей прихода вельможи к власти, когда во время его «коронационной» речи прорвало трубу и оттуда ему в лицо ударила фонтаном вода. Женщина лишилась волей вельможи отца и матери и бегала на лесную биржу в поисках родительских посланий на спилах деревьев, доставленных голыми бревнами из дальних краев. «Эта дорога не ведет к храму», – сказала женщина в окно постучавшейся к ней старухе, – и фильм закончился.

Домой ехали вчетвером, – муж к себе в машину взял одного сослуживца, оказавшегося безлошадным: машина того нынче днем сломалась и была на ремонте. Муж по-хозяйски занял переднее сидение рядом с шофером, но всю дорогу просидел развернувшись, – они с сослуживцем, не замолкая, обсуждали картину. Картина им не понравилась. «Это что, она там труп из земли все время вытаскивает, а сын тот потом его с обрыва бросает – это нам с нашей историей так обойтись предлагают?!» – металлическим голосом, гневно вопрошал муж. «Да! Богохульствуют, и вроде как, по их, это хорошо. Давайте и вы за нами вслед богохульствуйте! – с таким же металлом и гневом отзывался его сослуживец. – И вообще все в одну кучу свалили: и кареты там, и судьи средневековые, и машины современные – полная каша!» – добавлял он через недолгую паузу. «Во, точно! Каша! – соглашался муж. – Напущено туману, бой в Крыму, все в дыму... да никакой правды жизни нет!»

Впрочем, больше всего им не понравилась не сама картина, а все, что было вокруг нее, вся эта ситуация с семейным просмотром, что придавало просмотру характер некой, не вполне понятной чрезвычайности. «Это ж не просто так!» – говорил сослуживец. – «Конечно, не просто так, то ж ты думаешь!» – соглашался муж. – «Это чье, интересно, распоряжение?» – спрашивал сослуживец. – «Хотел бы я знать!» – отзывался муж. – «Что, нашего, что ли? Мало похоже». – «На нашего не похоже. – Сослуживец понимал мужа с полуслова. – Если только ему указание было». – «Во, – подхватывал муж. – Именно. Уж что-нибудь вроде намека, толстого такого, наверняка». – «От этого все исходит, от этого!» – нажимая голосом на «этого», восклицал сослуживец, не решаясь при шофере напрямую произнести имя, а того и не требовалось, и так все было ясно, но если б шоферу вдруг захотелось настучать, то улики бы не имелось. «А и вообще! Что она все время с ним рядом?! – не заботясь о логике своего восклицания, вмешивалась жена сослуживца. – Что она все время хвостом, что она себя выставляет, кто она такая, чтоб так выставляться?!» Жена сослуживца сидела между мужем и Альбиной посередине сидения и, произнося свою разгневанную, безадресную внешне тираду, пригибалась к коленям, заглядывала Альбине в глаза, ища у нее поддержки.

Альбина не отвечала ей, только неопределенно пожимала плечами и улыбалась. Она вообще не участвовала в разговоре. И даже не особо прислушивалась к нему. Смотрела в окно машины, за окном летела зимняя белесая тьма, разжиженная огнями уличных фонарей, горевших окон в домах, и улыбалась. Она чувствовала себя счастливой. Так, словно это она сняла фильм, она организовала такой просмотр, – все все она сделала, все было делом ее рук. Странное было чувство, удивительное, даже смешное, пожалуй, но вот однако...

Сослуживец мужа жил рядом, на соседней улице. Они завезли его с женой, объехали квартал – и оказались у своего дома.

– Ты молодцом, не трепала языком, – одобрительно сказал муж, когда шли к калитке. – Не то что эта... клуша.

– Ну да... не трепала, – чтобы что-то ответить, сказала Альбина. И засмеялась.

Муж, разумеется, не понял ее смеха.

– Чего?

– А ничего – ответила она. Не объясняться же было с ним.

– Что «ничего»? – остановившись у калитки, заступил он ей дорогу. – Или совсем не соображаешь, для чего нам фильм показывали?

– И соображать не хочу – сказала она, обходя его и открывая калитку. – Еще мне об этом думать!

Она и действительно не хотела думать об этом. Не думалось – и не хотела заставлять себя. Зачем? Совершенно все это было ей ни к чему¹⁶.

9

Казалось, ее качает на качелях. С этим чувством она обычно просыпалась по утрам. Она просыпалась – ее с бешеной скоростью несло по некоему пространству без тьмы, без света, без границ, открывала глаза – и движение стремительно и неудержимо затухало, оставляя лишь память о себе, но если случалось вновь провалиться в сон, новое пробуждение было отмечено этим же бешено-скорым движением в некоем пространстве, только теперь – и это она каким-то непонятным образом отчетливо осознавала – ее несло в другую сторону. Однако бывало, чувство качелей посещало ее и среди бела дня: вдруг в ней как бы замирало все, останавливалось, обрывалось – и в следующий миг приходило понимание, что это ее вынесло в крайнюю точку и сейчас понесет обратно.

В очередную их встречу с Ниной она поделилась с ней этим своим удивительным, необычным ощущением. Шел первый месяц зимы, у нее еще не кончилось изумительное яблочно-черноплоднорябиновое сухое вино, которое она несколько последних лет делала осенью для себя – одну десятилитровую бутылку, – и они пили с Ниной из узких хрустальных бокалов нынче его.

Нина подняла бокал к глазам, посмотрела на нее через его изломанные, отливающие радугой грани, словно это могло позволить ей увидеть Альбину каким-то особенным образом, и опустила бокал обратно на стол. В глазах у Нины Альбина прочитала сочувствие и осуждение.

– До психдома себя довести решила, – сказала Нина. – Ей-богу, до психдома! Мне не веришь, посоветовалась бы еще с кем. Давай устроим тебе консультацию? Не кончаешь совсем, у организма никакой разрядки, что ж ты хочешь!

У нее уже был новый любовник, и она очень им гордилась, потому что столб у него был необыкновенно длинный, приходилось, чтобы тот не поранил ее внутри, держать его обеими руками. «Совершенно необыкновенные ощущения, знаешь, – говорила она. – Прямо амазонкой на коне себя чувствую»

¹⁶ Речь шла о фильме «Покаяние» грузинского режиссера Т. Абуладзе.

– Этого я тебе не порекомендую, – развивая свою мысль, успокоила она Альбину. – С таким хорошим опытом нужен, еще покалечит он тебя, я себе ввек не прощу. Я тебе другого найду, он тебя так сделает – обрыдаешься!

Альбина слушала ее и смеялась. Неиссякающий Нинин энтузиазм вызывал в ней восторг. Но и только. Этот странный качельный полет несколько не пугал ее. В нем была некая естественность, необходимость, как если бы то было ее внутреннее дыхание: вдох – выдох, вдох – выдох. И она не ради советов поделилась с Ниной этим своим ощущением, а просто сидели, говорили – и вот вспомнилось.

– Нет, – сказала она Нине, – отстань и не приставай больше, не хочу никаких твоих. Не интересно мне все это, ну, ей-богу, пойми. Не интересно, ничуть.

Она не лукавила, и в самом деле все было так. Единственное, что ей было теперь по-настоящему интересно, что ее увлекало, чем она жила, – это те события, которые в той или иной, большей или меньшей мере имели отношение к нему. Она стала теперь следить не просто за ним, за его выступлениями, встречами, перемещениями по стране, а за всем тем, что, происходя даже на громадном удалении от него, было, однако, так накрепко связано с его личностью, до того напрямую связано, что случившись, тотчас отзывалось на нем, да и любое его движение тоже тотчас отзывалось там, на громадном удалении. И каким-то неясным ей самой образом она тотчас знала при том, что действительно связано, а что нет. И тем же непонятным образом знала, какое событие в его пользу, а какое против, какое имеет как бы знак «плюс», а какое «минус», хотя объяснить смысл этих знаков было бы ей непосильно. И знала она еще, что неизбежно чередование знаков, «плюс» непременно должен смениться «минусом», как «минус» «плюсом», – неизбежно с тою же неукоснительностью, с какой качели, пройдя путь до одной мертвой точки, неменуемо последуют в своем движении к другой, и так до тех пор, пока не перестанут раскачиваться и не замрут вообще.

Но знание это жило в ней словно бы само по себе, отдельно и от воли ее, и от чувств, и когда, буквально на следующий день после просмотра того фильма, она услышала о волнениях, случившихся в столице одной из восточных республик, едва там сняли их главу, принадлежащего к местной национальности, и заменили другим, имевшим национальность иную, о раненых, доставленных в больницу, о десятках арестованных, отправленных в тюрьму ждать наказания, – все внутри нее ужаснулось, и сердце сжалось, будто его стиснуло ежовой, безжалостно-игольчатой лапой¹⁷.

– Да ну вот, нашла себе заботу, думать еще об этом! – набросилась на нее Нина, когда Альбина объяснила, что ее сейчас волнует. – Их это дела, – указала она рукой на потолок, – пусть у них голова и болит. Пусть у них, тебе-то чего?!

– Да, как чего, – сказала Альбина. – Хуже ничего нет. Все, что угодно, только чтобы не это. Если начнут по крови делить друг друга, тогда все, конец, тогда не выйдет ничего.

– Что не выйдет? Что тебе нужно, чтоб вышло?

– То, ну что! Разве не понятно?

Она не могла ответить, что не выйдет. Она не понимала того сама, но, не понимая, видела: не выйдет! И почему, если видела это она, не видела Нина?

– Ой, брось, брось, умоляю тебя! – Нина поставила рубиново светящийся бокал на стол, замахала руками и приложила их к вискам. – Без нас разберутся, без нас! Кому нужно, тот пусть и разбирается, еще не хватало нам туда соваться!..

Но начало наступившего года оказалось спокойным. С нетерпеливостью распаленной гончей она вгрызалась по утрам на работе в свежепринесенные газеты, усаживалась, бросая

¹⁷ 17-20 декабря 1986 г., после снятия с поста 1-го секретаря компартии Казахстана Кунаева, казаха по национальности, и назначения на этот пост чуваша, бывшего до того 1-м секретарем Ульяновского обкома КПСС, в Алма-Ате (ныне Алма-Аты, столица государства Казахстан) произошли крупные волнения, имевшие националистическую окраску.

все дела, по вечерам рядом с мужем у телевизора слушать новости, – и всю снежную, долгую, морозную зиму, практически, не было поводов для тревог и даже простого беспокойства, и весна, почти до исхода, до последних своих календарных дней, тоже протекала вполне тихо. Состоялось, пробурлило громадными шапками заголовков на первых страницах газет, обстоятельно-длинными, сурово-нахмуренными телевизионными интервью важное собрание самой высшей власти, назвалось, все в тех же заголовках и интервью, историческим – и кануло в лету¹⁸. На ядерном полигоне республики, чья столица полыхнула перед Новым годом пожаром уличных волнений, возобновились взрывы, которых не проводилось весь прошлый год, больше, чем год, – и будто не было в том никакого перерыва¹⁹. В одной из южных, кавказских республик приговорили к пятнадцати годам лишения свободы за торговлю высокими, хлебными должностями лицо из самых высоких властных структур, – и это уже было воспринято всеми вокруг как едва ли не обыденное, рядовое явление²⁰. Война, в которой страна участвовала уже восьмой год, продолжалась, последнее время о ней стали писать и говорить по телевизору ощутимо больше, чем прежде, – но она была настолько привычна, настолько все сжились с нею, что никакого особого внимания на ее события никто уже не обращал²¹. Прилетела, покрасовалась с экранов телевизоров со своей неизменной сумочкой в руках, скрывая за ослепительной улыбкой истинный смысл своего визита, женщина-премьер-министр с окраинных, западных островов Европы, встретила с ним, поговорила о чем-то – и убыла обратно, оставив по себе всеобщее невнятное недоумение: зачем, собственно, она прилетела²²?

Лихорадить начало с конца мая. Ее вдруг будто тряхнуло, – началось с этого. Шла домой на обеденный перерыв – узкой твердою тропкой, строчкой бегущей в острой зелени крепнущей травы вдоль тротуара, – и почудилось, кто-то сильно толкнул в спину и следом, не дав упасть, – в грудь, и она, взмахнув руками, балансируя, чтобы и в самом деле не упасть, остановилась. Голову кружило, в глазах потемнело, в ушах стоял звон. Как если б качели, двигаясь, на полном ходу врзались в неожиданно возникшее на их пути препятствие.

На следующий день в вечерней информационной программе по телевизору сообщили, что накануне с территории одной из Прибалтийских республик угнан самолет²³. А на другой день пришло новое сообщение, по сравнению с которым предыдущее померкло и напрочь исчезло, как меркнет и исчезает свет электрической лампочки при грянувшем свете солнца. Некий спортивный самолет, принадлежащий стране недружественного военного блока, спокойно пересек границу и, никем и нигде не задержанный, пролетев едва не тысячу километров,

¹⁸ Проходивший в Москве в конце января 1987 г. и обсуждавший «вопросы кадровой политики» Пленум ЦК КПСС оценивался в прессе как «не менее революционный», чем прошедший до того XXVII съезд КПСС.

¹⁹ Согласно сообщению ТАСС от 13 марта 1987 г. в 5 час. 00 мин. по московскому времени в Советском Союзе на полигоне в районе Семипалатинска был произведен подземный ядерный взрыв мощностью до 20 килотонн. До того в течение едва не полутора лет Советский Союз демонстративно не производил никаких ядерных взрывов, призывая к тому и США.

²⁰ Имеется в виду дело С. Хабеишвили, одного из секретарей ЦК Компартии Грузии. Еженедельник «Аргументы и факты» в № 11 (21-27 марта) за 1987 г. писал: «Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Грузинской ССР, рассмотрев дело по обвинению С. Хабеишвили, признала его виновным в неоднократном получении взяток от бывших первых секретарей Сигнахского, Телавского и Ахметского райкомов партии Н. Бучукури, А. Кобаидзе и В. Батиашвили на общую сумму 75 500 руб. Председательствующий оглашает приговор: «Именем Грузинской Советской Социалистической Республики... признать виновным... приговорить к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества...»

²¹ Речь о войне, которую Советский Союз вел в Афганистане с 30 декабря 1979 г., когда ударные группы советских сил безопасности взяли штурмом президентский дворец в Кабуле.

²² Официальный визит премьер-министра Великобритании Маргарет Тетчер в Советский Союз состоялся в конце марта, начале апреля 1987 г. и, судя по официальным сообщениям, был малорезультативен для обеих сторон.

²³ ТАССовское сообщение содержит об этом событии следующую информацию: «27 мая в Швецию угнан самолет Аэрофлота АН-2. Эта преступная акция совершена Свистуновым, уволенным в 1985 году из Аэрофлота, 1963 года рождения. Советская сторона обратилась к шведским властям с просьбой о выдаче преступника, а также о возвращении самолета и находящегося на нем имущества.»

все так же спокойно приземлился прямо на Красной площади в Москве²⁴. Совсем где-то рядом с ним, отметило сознание Альбины.

Следствием этого грянувшего солнечного луча стало смещение со своего поста министра обороны²⁵. Смешной остроклювый мальчик в светлых проволочных очках, со странной для его малого опыта умелостью посадивший самолет среди тесноты окружающих площадь зданий, избежавший ячеи проводов, натянутых над нею, – откуда он взялся? что вдруг ему втемяшилось в голову совершить этот дикий перелет, когда каждая минута веселого моторного тарахтения его крылатого жучка над чужою землей должна была стать последней?

И все лето, и вся осень, до самых последних ее дней, до мороза и легшего снега, прошли для Альбины словно бы в некой тележной тряске по булыжной ухабистой мостовой. Таковую, во всяком случае, ассоциацию вызывало в ней происходившее с нею. Встряхивало и подкидывало, мотало взад и вперед, нещадно болтало – можно было бы уподобить ее состояние и лихорадке, временами она даже ощущала в себе некий горячечный, болезненный жар. Городу, необъяснимо переименованному три года назад в честь очередного сановного лица, умершего на вершине власти, вернули его прежнее, исконное имя²⁶, – и у нее было чувство, что причастна к этому. Престарелый сановник, последний из старческого синклита, занимавшего вершину власти два предыдущих десятилетия, принял представителей народа, с непомерной жестокостью изгнанного без малого полвека назад со своего полуострова, где до того прожил века, обсуждал с ними возможность и способы возвращения, чего годы и годы никто на вершине не желал делать²⁷, – и она чувствовала себя причастной и к этому. Но ужас был в том, что, когда, несколько дней спустя, грузовой поезд на полном ходу врезался в пассажирский состав, что шел впереди, подмяв под себя, сплющив, искорежив несколько последних вагонов со спящими там людьми, превратив их живые тела в кровавые куски мяса с торчащими обломками костей²⁸, она была причастна и к этому ужасному крушению. Как была причастна к падению со своего головокружительного высокого поста человека, что вдруг ни с того ни с сего на заседании того заоблочного омоложенного синклита, к которому теперь принадлежал, взорвался обвинениями в адрес синклита, едва, по слухам не бранью²⁹, – словно это она потянула его за язык, подтолкнула в спину: давай! И была вскоре после того еще одна железнодорожная катастрофа – всего лишь с тремя погибшими³⁰, а спустя несколько дней, словно бы в некое злоеущее назидание, – новая, подобная той, первой: грузовой состав врезался сзади в стоящий на станции пассажирский, прошив обезумевшим локомотивом хвостовой вагон насквозь, – снова превратив в кисельную слизь, перемолов в костяное крошево десятки и десятки людей...³¹ и

²⁴ Сообщение ТАСС в «Известиях Советов народных депутатов СССР»: «О НАРУШЕНИИ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА СССР. 28 мая 1987 года днем в районе города Кохтла-Ярве воздушное пространство Советского Союза нарушил легкомоторный спортивный самолет, пилотируемый гражданином ФРГ М. Рустом. Полет самолета над территорией СССР не был пресечен, и он совершил посадку в Москве. По данному факту компетентными органами ведется расследование.»

²⁵ «Известия Советов народных депутатов СССР» от 31 мая 1987 г.: «В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. Президиум Верховного Совета СССР освободил Маршала Советского Союза Соколова Сергея Леонидовича от обязанностей министра обороны СССР в связи с уходом на пенсию.»

²⁶ г. Ижевск (в 1984-87 гг. Устинов). Сообщение о возвращении Ижевску исторического названия было опубликовано в печати 20 июня 1987 г.

²⁷ Представителей крымских татар принял в Кремле 27 июля 1987 г. Председатель Президиума Верховного Совета СССР А. Громыко, долгие годы до того министр иностранных дел СССР.

²⁸ Крушение поезда № 335 «Ростов-Москва» на станции Каменская 7 августа 1987 г.

²⁹ 21 октября 1987 г. на заседании Политбюро ЦК КПСС, обсуждавшем тезисы доклада М. Горбачева на будущем торжественном собрании, посвященном 70-летию Октябрьской революции, 1-й секретарь Московского горкома КПСС Б. Ельцин выступил с критикой деятельности Политбюро и, в частности, одного из его членов – Е. Лигачева. Спустя три недели, 11 ноября на пленуме Московского горкома КПСС Б. Ельцин был снят со своей должности, а позднее выведен и из состава Политбюро.

³⁰ Столкновение пассажирского поезда № 173 «Ленинград-Москва» с грузовым поездом на Горьковской железной дороге 24 ноября 1987 г.

³¹ Данная катастрофа произошла 29 ноября в 4.20 утра по местному времени у платформы Руисболо перегона Гардабани –

временами ей уже становилось не по силам больше жить в этом, терпеть это все в себе дальше, ей казалось, – лучше свихнуться, сойти с ума, чтобы не иметь к подобному отношения, а просыпаясь по утрам, слыша, как замирает стремительный качельный бег, обнаруживала в себе жуткое, вынимавшее душу отчаяние: а не просыпаться бы!

И лишь новая его встреча с тем, бывшим актером, происшедшая за тысячи километров, на земле этого бывшего актера, в столице его страны, опять незадолго до Нового года, лишь она принесла ей некоторое облегчение и примирила с собой: соглашение, подписанное на встрече, было чем-то немыслимым прежде, небывалым, грандиозным, – так, во всяком случае, писали газеты и говорили по телевизору, и там, по другую сторону земли, писали и говорили будто бы то же самое³². И еще писали и говорили: он произвел там на всех очень сильное впечатление. И ей это было как-то по-особенному приятно. Она испытывала словно бы материнскую гордость за него. Как если б он был ее сыном, оправдавшим потаеннейшие надежды и ожидания.

10

– Я думаю, вам все-таки нужно пройти диспансеризацию, – сказал врач. – Такая у вас прекрасная возможность профилактики, где вы еще найдете? и вы не пользуетесь!

– Что мне от этой диспансеризации, – Альбина начинала внутренне раздражаться. Вот из-за подобных вещей она и ненавидела эту привилегированную, недоступную ни для кого, кроме людей их положения, поликлинику мужа и обращалась сюда, если уж совсем подпирало. Тебе нужно всего лишь вытащить занозу из пальца, а вокруг тебя принимаются совершать всякие ритуальные танцы с лазерами, изображая самую сверхнеобыкновенную заботу. – Зачем мне диспансеризация? Что она даст? Я говорю, мне по утрам просыпаться не хочется, при чем здесь диспансеризация?

– Вы же грамотная женщина, сами понимаете, странно, чтоб я объяснял вам! Диспансеризация – проверка всего организма, это только во благо. А вдруг у вас с почками нелады, – должен и я знать, если лекарства назначать?

Врач был терпелив, благосклонен, как, впрочем, и все врачи этой всегда пустой поликлиники, он был мужчина, и Альбине это нравилось – что мужчина, женщине-врачу такой специализации она бы не доверяла и, пожалуй, не смогла бы раскрыться до конца, но оттого, что занозу ей собирались вытаскивать лазерами, она уже готова была оставить все как есть и пусть нарывает.

– Все у меня лады с почками, – сказала она, еще надеясь переспорить врача. – Было бы нелады, я бы что, не почувствовала?

– Совершенно необязательно, конечно, – кивнул врач.

Альбина, колеблясь, согласиться ли на требование врача и пройти через эту тягомотную, бездарную, бессмысленную процедуру обхода едва не всех поликлинических кабинетов, после которой ее история болезни только распухнет еще на несколько страниц – и весь результат, или же послушаться чувства, плюнуть на все и пусть нарывает дальше, посидела некоторое время молча.

– И потом, – не дождавшись ее ответа, продолжил врач, – я, в конце концов, не могу вас лечить, раз в вашей карте нет отметки о диспансеризации. Я вас просто в любом случае должен отправить на нее. Раз в год положено. А вы, глядите, вы уже три года не можете сподобиться. А ведь вам, наверно, звонили, письма присылали?

Беюк-Кясик на 39-м километре от станции Тбилиси.

³² Во время проходившей 7-13 декабря 1987 г. в Вашингтоне встречи М. Горбачева и Р. Рейгана было подписано соглашение о взаимном уничтожении 50 % ракет средней дальности.

– Не помню, – уже совсем раздраженно ответила Альбина. Хотя все она помнила: и звонили, и присылали.

Но эти его последние слова убедили ее: делать нечего, надо соглашаться. Может быть, ее почки и играли тут какую-то роль, но главное, не прошла диспансеризацию – не можешь лечиться. А она нуждалась в помощи, она уже едва справлялась с собой, – так плохо ей было от самой себя!

Хирург попалась женщина, которая была заклинена на геморрое. Она обязательно смотрела прямую кишку и в отличие от напарника, хирурга-мужчины, который мог посмотреть, а мог и не посмотреть – в зависимости от жалоб, производила осмотр не на боку, как он, а ставя на четвереньки, вот это-то, становиться на застеленной липкой полиэтиленовой пленкой кушетке в позу, которую она не могла переносить, которая была ужасна для нее, унижительна и тотчас напоминала о тех двух или трех случаях, когда муж все-таки заставил ее уступить, это-то для Альбины и было, может быть, нестерпимее всего в бессмысленной процедуре диспансеризации.

– Можно на боку? – умоляюще спросила она, стоя на коврике перед кушеткой в одних трусиках.

– Нет, ни в коем случае, – безжалостно, глядя мимо нее, сухо отозвалась хирург, стоя в готовности рядом с ней, с надетым на указательный палец резиновым напалечником. – На боку – это халтура! Опуститесь на локти, снимите трусы, прогните спину, – скомандовала она, когда Альбина была уже на кушетке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.